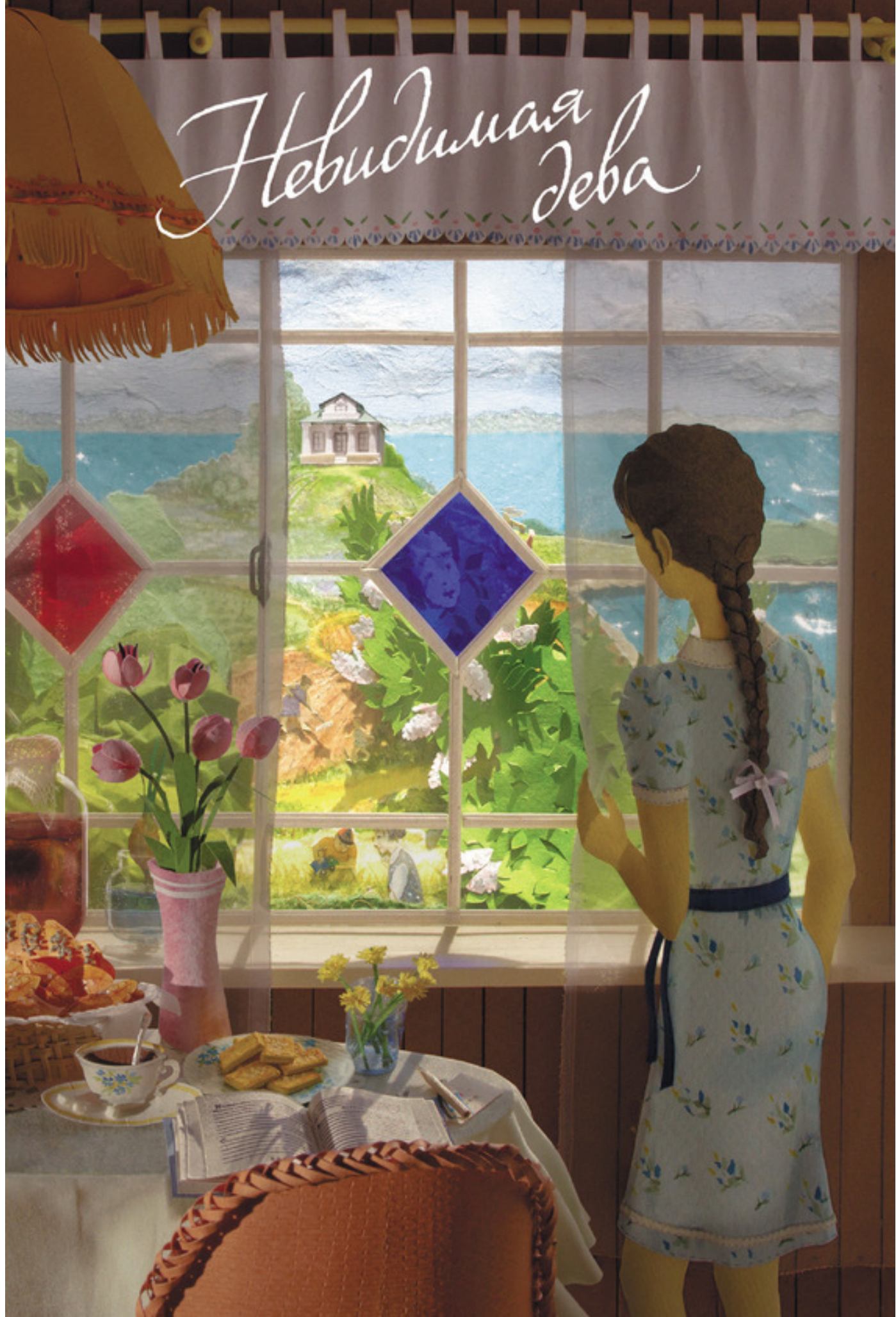


Татьяна Толстая

# Невидимая Дева



Татьяна Толстая  
**Невидимая дева**

«АСТ»

2015

**Толстая Т. Н.**

Невидимая дева / Т. Н. Толстая — «АСТ», 2015

В новую книгу «Невидимая дева» вошли как известные, успевшие стать классикой рассказы Татьяны Толстой, так и новые, не публиковавшиеся ранее тексты: повесть «Невидимая дева» и рассказ «Учителя».

© Толстая Т. Н., 2015

© АСТ, 2015

## Содержание

Невидимая дева	6
Соня	23
Любишь – не любишь	28
«На золотом крыльце сидели...»	35
Милая Шура	40
Круг	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

## Татьяна Толстая

### Невидимая дева

В новую книгу «Невидимая дева» вошли как известные, успевшие стать классикой рассказы Татьяны Толстой, так и новые, не публиковавшиеся ранее тексты: повесть «Невидимая дева» и рассказ «Учителя».

Эта книга – дополненное и расширенное издание моего сборника «Ночь».

В эту «Ночь», в отличие от остальных книг, я собираю тексты более художественные, – не сиюминутные, не злободневные.

Сейчас я добавила сюда маленькую повесть «Невидимая дева», а также отрывок из воспоминаний – «Учителя». Он примыкает к повествованию, которое я назвала «На малом огне» (напечатано в сборнике «Легкие миры»).

Эти два текста пересекаются. В них мне захотелось вспомнить про дорогих мне людей, а про тех, кого любишь, можно вспоминать без конца, и каждый раз по-разному. Вот я и вспоминаю о них по-разному.

Есть воспоминания утренние, легкие и светлые. Есть вечерние, золотые, – они тяжелее, и это окрашивает тех, о ком вспоминаешь. Бывает вообще ночной мрачнюк и депрессняк.

Какими были эти люди на самом деле? Хорошими? Сложными? Добрыми? Раздражительными? Не знаю! Они были любимыми, они – были, и вот я пишу про них, вертя их и так и сяк.

И еще напишу.

*Татьяна Толстая*

## Невидимая дева

На дачу мы заезжали в несколько приемов.

Сначала – когда сходили последние черные корки снега, а это мог быть апрель или ранний май, – ехала мама. Иногда она брала с собой меня, для помощи, но помощи от меня всегда было мало. Я была толстая, мечтательная и чрезвычайно ленивая; ни одно из этих качеств не годится для активной работы в саду. А уж тем более для того, чтобы таскать дрова из сарая или воду с озера. На это мама даже не рассчитывала. Она вообще ни на кого из нас не рассчитывала и делала все сама. Ее молчаливое трудолюбие должно было послужить нам укором, уроком и примером. Но не послужило.

Мы входили в сырые комнаты, чудесно пахнувшие лежалыми льняными скатертями, перезимовавшими одеялами, фанерой стен, старым клеем, выступившим на столах и стульях от влаги, старыми резиновыми сапогами, сосланными сюда, за город, для черных работ. Мама входила первой, светила фонариком, отстегивала шпингалеты на фанерных щитах, закрывавших окна, мы вдвоем снимали эти тяжеленные щиты, и заплесневелые комнаты освещались солнцем. Мы распахивали окна, острый уличный воздух входил в дом, нас охватывал озноб, и не хотелось ничего делать, а хотелось пить на веранде сгущенный кофе с молоком, банку которого мы привезли с собой из города.

А мы так и делали. Мама нарезала сыр и хлеб, мы садились в скрипучие плетеные кресла и, щурясь, смотрели в сад сквозь стекла простые и стекла цветные. Цветных было два: кроваво-алый ромб – за которым весь мир представлялся бледно-земляничным, вываренным, как ягоды в компоте, и ромб зеленый, в любой момент создававший иллюзию июля.

Потом мама шла растапливать печь, кипятить воду для уборки, таскать тяжести или двигать мебель, а я делала что-нибудь ничтожное: выдвигала ящик старинного буфета и нюхала старую бумагу, например. Или листала чьи-то забытые блокноты, надеясь среди хозяйственных записей (пачка соды, сах. 5 кг, позв. А.Ф. фтизиатра Мусе, К2-14-68, тесьма корич.), – напрасно надеясь найти какое-нибудь таинственное имя, страстный вздох, отпечаток чужой любви.

Я зависала над каждой книжкой на полке, которую взялась разбирать. А разбирать каждый раз приходилось, потому что зимой на даче жили крысы, питавшиеся подшивками «Нового мира» и французскими романами, написанными в начале Первой мировой войны. Крысы ели клейстер, которым в былые времена проклеивали корешок, обгрызали канву, на которой держался переплет, обсасывали голубые ленточки, служившие закладками. Синтетический клей они не ели, а крахмал – за милую душу. Так что надо было перебрать обгрызенное, вымести крысиный помет, протереть полочки.

Времена были оттепельные, «Новый мир» печатал всякое такое смелое и актуальное, но для меня не интересное; французские же романы, неизвестно какими путями занесенные на дачную полку, пели о вечном: обжигающая эротика, нагота женщин, коварство и измены мужчин. Когда вам тринадцать лет, эта тематика – в самый раз. И подталкивает к изучению французского.

Один роман, например, назывался *L'éclat d'obus* – «Взрыв снаряда». Как я теперь понимаю, это была такая метафора: вон тот красавчик с зеркально зализанными волосами и торчащими усами (картинка), в белых брюках, испытал взрыв чувств к вон той изящной дамештатуетке с невероятными волосами и в огромной шляпе (картинка). Или она к нему испытала. Короче, взаимное бурление страсти, преступные (разумеется) объятия, кружева, приоткрытый ротик с двумя кроличьими зубками, – а потом горечь прозрения, заведенные к потолку глаза: мон дьё, как я могла быть так неосмотрительна?.. заламывание рук и прочие волнующие французские действия, а ты тут таскай дрова, обутая в резиновые сапоги.

Одна из картинок особенно нравилась. Подпись к ней гласила: «Он жадно смотрел, как она смело входит в море, не стесняясь своей почти полной наготы». Между тем, «она» была одета в полноценное платье с длинными рукавами, с глухим воротом, подол она подобрала, залезая в воду, и под платьем обнаружили полосатые панталоны ниже колена, – видимо, они и были наготой; на голове у нее тоже было заверчено будь здоров. В море, в слабой кружевной волне, виднелись колесные кибитки для купания, – из них несмело выглядывали более робкие и стыдливые девы. Год издания – 1914-й. Последнее мирное лето.

– Мам, что значит *les cris de passion*?

– Крики страсти, – сдержанно отвечала мама. – Оставь эту чепуху и пойдешь лучше поработай граблями.

Но картинка, на которой, судя по подписи, и раздавались эти волнующие крики, была грубо вырвана, и от пышноволосяной *Claudine* осталась только кучка кружев на полу да резная нога кровати, на которой ею овладевал невидимый *Albert* с усами. Как всегда, самое ценное, самое предосудительное было вырвано.

Во вторую очередь на уже прибранную и вымытую дачу привозили детей и няню. Дом уже стоял теплый, протопленный, пах жареной картошечкой и баночной тушенкой, горячим компотом из сухофруктов – домашнее, уютное, надежное; всех накормим, всех согреем. Топилась дровяная плита; краткими сеансами, экономя баллоны, включали газовую, и вечно стояла под парами электрическая двухконфорочная, невыносимо медленная плитка, на которой мелкими буквами были начертаны как бы мантры: «Только левый – слабый нагрев, только правый – средний нагрев, оба вместе – высокий нагрев».

Няня ставила на окно привезенную из Ленинграда трехлитровую банку с «грибом», укрытую стиральной марлечкой, – с первого дня своего рождения и до дня няниной смерти я смотрела в ленинградское кухонное окно на серый шестиэтажный дом напротив, на школьный двор с волейбольной сеткой, на бесконечно далекие, спичечно-тонкие трубы Выборгской стороны не иначе как через этот гриб, через эту банку, через янтарное болотце, поверх которого лежал одутловатый, бледный, толстый, слоистый блин. Он был живой. Его надо было заливать слабым свежим чаем с ложкой сахара. Дня через три чай превращался в жгучий, щиплющий желтенький напиток, – был он якобы необычайно полезен. Где кухня – там гриб; где гриб – там забота, любовь, кормление и тревога. Гриб, гриб залить!.. Гриб заливали?..

Он был как еще один ребенок в нашей семье, – вот нас семеро, и гриб. Мы, благополучно родившиеся с ногами, руками и глазами, – и он, недоношенный, безглазый, неспособный не то что проползти, – шевельнуться неспособный. Но живой. И наш. Нянин ребенок.

(Потом, когда няня умерла, о нем некому стало заботиться. Кто-то из сестер взял его себе, но правильно кормить его забывали, он стал хиреть, как-то помутнел, разложился и умер.)

Няня ставила гриб на дачный подоконник; в соседи ему назначался лук, окунувший белое мочало корней в майонезную баночку с водой; там же сохли стеклянные банки из-под венгерского горошка «Глобус» и томатного соуса, который няня называла «красный» и никак иначе. Кухня была темной, бессолнечной и глухой, потому что нашу дачу строил дурак.

Все солнце, весь ветер, все цветы были там, за окном.

Там, за окном начинался соседский участок, который был для нас почти что родной, но уже недоступный. Там, у соседей мы долгое время снимали комнаты – первый этаж, – пока мама не купила эту нашу построенную дураком дачу. Участок был огромный: на нем было картофельное поле, и дикое поле с голубыми колокольчиками, и «третье поле», на котором ничего специально не росло, – оно просто было; и яблоневый сад, и сиреневый сад, и огород с кабачками, и заросли желтой акации, и рощица сахалинской гречихи, и необыкновенная береза, исполинского роста и обхвата, и еловый лес, спускавшийся с холма на запад, и сосновый пере-

лесок, спускавшийся с холма на восток; в сосновом перелеске под толстым слоем рыжих иголок еще были слабо видны, словно заросшие чемоданы, очертания некрупных могил: прежний, изначальный хозяин хоронил там своих любимых собак. Все это, весь этот мир когда-то был нашим, а теперь был отгорожен проволочной сеткой и хода туда больше не было.

На вершине холма стоял сам дом – Белый Дом, как мы его называли. Про Белый Дом рассказывали так: много лет назад, в конце XIX века, на этот узкий перешеек – язык земли между двух озер, – приезжал охотиться некий господин Дмитриев со своим сыном. Сыну так понравился сосновый лес, песчаные озерные берега и заросли иван-чая и черники, что он сказал отцу: «когда я вырасту, я построю себе здесь дом». Дмитриев-сын вырос, стал инженером, разбогател и купил себе перешеек; на одном сосновом холме он построил охотничий домик (я его еще застала, потом он сгорел), а на другом – Белый Дом. Вход в охотничий домик был с маленького крылечка, и над входной дверью были прибиты оленьи рога. А у Белого Дома было две террасы: черная с тылу, для входа людей и вноса предметов и запасов, и белая парадная, нарядная терраса с белыми колоннами; колонны были деревянными, а сверху – штукатурка. Второй этаж – мезонин. Говорили, что фасад этот – копия декорации, изображающей дом Татьяны Лариной в постановке оперы «Евгений Онегин» 1915-го года.

Если ты – девушка с косой, в возрасте томления и ожидания, и стоит белый вечерний июнь с немеркнущим светом, и никто не спит, и смерти нет, и в небе словно бы музыка, – хорошо тогда выйти постоять на такой террасе, обняв белую штукатурку колонны, и смотреть, как от ступеней вниз стекает море цветущей сирени, и вдыхать запах этой белой, сумеречной пены, и запах своего чистого тела, и запах своих волос. Потом жизнь обманет, но это уж потом.

Мы там жили на первом этаже, и я помню таинственную тень проходных комнат, голландскую печку с простыми темно-зелеными изразцами, гладкими, без рисунка; по чьей-то ошибке или прихоти две кафелинки были темно-синими, и это несовершенство рождало жалость, а значит, любовь; помню рукомоЙник с тазом на тумбе и с облупленным кувшином; помню полукруглые окна мезонина, – в мезонине уже были не наши комнаты, и пахли они не по-нашему, мы туда поднимались в гости по лестнице, выкрашенной серо-голубой краской; там на втором этаже между рамами стояли небольшие стаканчики с густо-багровой и густо-мандариновой жидкостями; назначение их я знала, но забыла. Говорили, что это какие-то яды – то ли чтобы не было мух, то ли чтобы стекла зимой не замерзали. В детстве я боялась слова «яды», да и сейчас я его как-то не очень. Яд представляется мне жидкостью цвета портувейна, с душистым приторным запахом микстуры «пертуссин».

Еще там было трюмо, – меня поразило это ночное какое-то слово: «трюмо», – а на стене на крючке висел бледно-лиловый халат тети Веры, халат цвета вздохов, цвета белой ночи, шепота и нездешних волнений. Он пах так прекрасно, что сердце останавливалось. Он пах Белым Домом, 1914 годом, далекими, нетронутыми лесами.

Холм, на котором стоял Дом, стекал, стало быть, на восток и на запад; на востоке, всё в соснах, волновалось большое синее озеро Хеппо-Ярви, еще никем не испорченное и не замусоренное: худшее, что можно было найти на прекрасном озере Хеппо-Ярви, это заросли ольхи – сорный, противный кустарник; на листьях его, с изнанки, росли какие-то красные точки, как бородавки.

На западе – по крутой тропинке вниз с холма – тихо лежало маленькое черное озеро – вернее, залив или загиб большого, но мы его называли Маленьким озером и понимали его как отдельное, младшее, самостоятельное озерцо. На нем росли желтые, пахнущие русалками кувшинки – если свесить с лодки руку, погрузить ее в воду поглубже и правильно рвануть, – можно было выдернуть кувшинку вместе с двухметровым стеблем, а правильно надрывая стебель, можно и нужно было сделать себе мокрые, холодные бусы. Вечером над маленьким озером, над его черной зеркальной водой долго горел желтый финский закат и черными резными зубцами стояли елки. (Еще пару мухоморов под ноги – и картинка Билибина готова). Днем

елки отступали, куда-то девались, и берега были зелено-золотые, счастливые. В озере водились пиявки, мы их ловили и боялись; по гладкой плоскости воды бегали жучки-водомерки, над водой летали стрекозы, на берегу стояла купальня, в которой когда-то мылся Дмитриев, – девятнадцатый век еще не ушел из этих мест, медлил, показывал нам мир, каким он был до Первой мировой войны, – зеленый, синий, солнечный мир не убитых.

Дмитриева тоже не убили ни во время войны, ни после. Говорили, что он был большим человеком в энергетике, участвовал в проекте ГОЭЛРО, и это, говорили, его спасло. В Википедии, правда, пишут, что в апреле 37-го «арестован главный инженер Главэнерго Наркомтяжпрома СССР Г. А. Дмитриев. Расстрелян 14 сентября». Но это, наверно, другой Дмитриев, московский. Ни по возрасту, ни по месту жительства он не совпадает с нашим. Если бы это был наш, то и наследников расстреляли бы или отправили на урановые рудники, а Белый Дом превратили бы в какой-нибудь туберкулезный санаторий для работников ВЦСПС, и они харкали бы своей профсоюзной мокротой в сиреневом саду.

Наш Дмитриев еще до революции построил на берегу Маленького озера электростанцию, и в Белом Доме, стало быть, было свое электричество. В моем детстве еще видны были плиты известняка, на которых он поставил генератор – площадка примерно два метра на два. Между щелями плит уже пробивалась шелковая травка забвения, маленькие трилистнички белого клевера. Он назывался «кашка», он был сладким, и мы его ели.

Я теперь одна знаю, где стояла эта электростанция, где ушли в землю серые ноздреватые плиты. А новым людям этого знать не надо. И я им не скажу.

Еще от Дмитриева осталась большая пожелтевшая фотография, висевшая на стене – скучные усатые лица в овалах, должно быть, инженеры, окончившие с отличием и без отличия какой-нибудь Технологический Институт и горевшие желанием применить свои знания во славу и на пользу Отечеству. Черная резная рамка, стекло, мухи. Арестованы, должно быть, и расстреляны.

Наследники Дмитриева долго владели домами на двух холмах, но потом власть стала их притеснять – запрещено было иметь два адреса, – и они продали охотничий домик, а потом еще кусок участка, а потом еще. Да и нам стало там тесно, нас уже было семеро, и мама купила соседнюю дачу. С видом на Белый Дом. Да, редко кому так везет.

Нашу дачу строил дурак, плотник по прозвищу Курчавенький. Так его прозвал кто-то из детей. «Мама, Курчавенький пришел!» Плотник умилился и сам себя с тех пор называл Курчавеньким, а настоящего его имени мы не помним. Он построил этот дом сразу после войны для прежнего хозяина, аптекаря Янсона, желавшего сдавать комнаты дачникам. Глупость Курчавенького проявилась, например, в том, что все комнаты и первого, и второго этажей, кроме одной, выходили на север, и ни одного луча солнца никогда в них не проникало, отчего дом сырел и гнил, тем более что не уворовать материала Курчавенький никак не мог, и дом был построен без фундамента. В дальнем углу сада он воздвиг просторную финскую уборную-скворечник на два очка, но украл разделительную стенку, так что представилась прекрасная возможность ходить по нужде парами – возможность, которой, правда, никто не воспользовался.

Курчавенький был на все руки мастер: и тебе плотник, и тебе садовник; он любил свою работу, и прибить и отодрать – все ему было одинаково интересно. Построив кривой, оползающий набок дом, он стал считать себя как бы его совладельцем: приезжал из города без зова и без спроса, входил без стука, с ящиком инструментов, с гвоздями и клещами, напускал на лицо выражение мастеровое и таинственное и непременно что-нибудь бессмысленно улучшал; слышался стук молотка или хрип пилы-ножовки, – следствием этого процесса было то, что он вылезал из подпола, или спускался с чердака, или выбирался, шурясь на свет, из сарая с бревном в руках или с фанеркой какой, и, все так же таинственно и мастеровито улыбаясь, увозил ее с собой. Если не быть начеку, легко можно было остаться без балкона: как-то Курчавенький

был пойман на том, что отклепывал от стены металлические опоры, на которых держался балкон, – те опоры, которые он сам же приклепывал к стене десятью годами ранее. Когда он успел разобрать навес над дровами – не заметили.

То есть он рассматривал всякий дом как склад материалов, могущих пригодиться в другом месте: он строил и чинил и в других поселках, и если он приезжал к нам с фанерой или кирпичами – можно было быть уверенным, что он отъел их от какого-то чужого дома и приделает к нашему. Если после визита Курчавенького у нас появлялась лопата – значит, в Васкелово, или Грузино, а то и в Элисенвааре лопата пропадала: если Курчавенький, уверенно улыбаясь, выносил стекла – понятно было, что скоро они заблестят в чьем-то далеком окне. Этот человек осуществлял, так сказать, круговую пересадку органов, пришивал ухо к ноге, – не сомневаюсь, что из перегородки для нашей уборной он сделал неизящный садовый столик для ничего не подозревающих хозяев шести соток в садоводческом кооперативе в Осельках.

Стало быть, по южной, солнечной стороне дома шел коридор, в котором жить было незачем и вообще странно, спальни же были всегда холодными и темными. Для обогрева задуманы были дровяные печи, но уже в моем детстве они развалились и греть не хотели: конечно, выюшки и часть кирпичей пропали понятно куда.

Зато в коридоре второго этажа, в бессмысленном расширении коридора, повторявшем веранду этажа первого, тоже были цветные ромбы стекол: красное и синее. Я иногда ходила туда посмотреть в синее.

В третью очередь на дачу привозили старушек, тетю Лелю и Клавдию Алексеевну. Тетя Леля была подруга покойной бабушки, дачу нашу тоже считала практически своей, сидела всегда на одном и том же стуле, пила из своей особой чашки и занимала всегда одну и ту же комнату на втором этаже, самую сырую, на которую никому не разрешала покушаться даже в свое отсутствие, а никто и не покушался. Там было так сыро, что любой другой давно бы умер, но тетя Леля была из «александровских старушек» – рожденных при Александре III и особо крепких женщин, – холодные обливания, растереться докрасна вафельным полотенцем, все такое. В Ленинграде тетя Леля жила в коммунальной квартире в комнатке площадью три метра, да, ровно три – бывшей дворницкой. Ее довоенную комнату – хорошую – разнес фугас.

Я была в этой трехметровой комнатке; собственно, там была только кровать. Если встать с кровати, то двое не могли разойтись. Так что тетя Леля принимала гостей на кровати: сидела бок о бок и разговаривала. Иногда она выходила в коридор, чтобы поставить чайник, тогда гость поджимал ноги, и тетя Леля пробиралась мимо гостевых ног. Еще там в изголовье был втиснут крошечный столик, потому что чай пить как-то надо.

Так что сырая дачная комната казалась тете Леле хоромами. Она шла к тем соседям, что продавали цветы и клубнику, покупала себе вязанку розовых пионов, обливалась рижскими духами «Желудь», открывала дверь на балкон (тот самый балкон, что подпиливал Курчавенький), садилась в ивовое кресло, укладывала хроющую ногу на другое кресло, подпирала ее тростью, раскрывала роман на английском, или французском, или немецком языке, – ей было все равно, – и наслаждалась.

Но тетя Леля была солдат своего рода, и наслаждалась по часам, от и до, а закончив наслаждение, ковыляла на первый этаж (скрипит лестница, – разбегайся!), отлавливала кого-либо из нас и вела к себе заниматься русским диктантом, или английской, или французской, или немецкой грамматикой. Час в день. То есть она учила одного час в день, потом второго час в день, потом третьего час в день... (Мы эту повинность, понятно, ненавидели, но только благодаря тете Леле я поступила в университет, да и пишу почти без ошибок.)

Тетя Леля была до противного честна, до воя прямолинейна, до удушья медленна. Она говорила правильным литературным языком, с придаточными предложениями, выделяя интонацией знаки препинания. Она была очень хорошим человеком. Никогда никого в жизни не

обманула. Поэтому от нее убегали. Благодаря глупости Курчавенького, все комнаты в доме были взаимно-проходными: если кто-то входил в твою комнату, можно было быстро выскочить из нее в другую дверь. Но нас было много, больше, чем дверей, так что тетя Леля обычно кого-нибудь отлавливала. Положив тебе холодные руки на талию и крепко удерживая твоё рвущееся тело, тетя Леля затевала пустой, бессмысленный разговор: «Когда я училась в седьмом классе гимназии, у нас был учитель географии, который считал, что нет лучшего способа обучить своему предмету, нежели отправиться в путешествие по тем странам, которые ты изучаешь. И я с ним совершенно согласна. Скажем, если ты изучаешь Германию или Францию...» – «Тетьлеля! – со смехом кричали ей в слуховой аппарат, так как она была, конечно, глухая: все тот же фугас. – Это в каком году он советовал? В тыщдевятсотпятнадцатом? В Эльзас и Лотарингию съездить, да? Тут тебе и Германия, и Франция!» – «Нет, ну почему же, – тетя Леля начинала новый виток. – Речь, конечно, может идти только о мирном времени...» – «Тетьлеля! Вот сейчас время мирное, да? А попробуйте в сраную Болгарию попроситься, тетьлеля! Партком загрызет! Оставь надежду всяк сюда входящий!»

А прямо под тетиными сырым казематом, на первом этаже находилась зеленая комната, называемая так потому, что мама постелила в ней зеленый линолеум, – собственноручно постелила, разумеется. Отодвинула мебель, раскатала линолеум и прибила, где надо, гвоздиками.

Эта комната была самой проходной на свете, в ней было окно и три двери: на веранду, в кухню и в комнату, где спали четверо. Кроме того, в ней стояло кресло и телевизор, который все всегда смотрели. Через нее бегом проносили кастрюли с супом и сковородки с мясом, салатницы с салатами и стеклянные миски с киселями, через нее проносили чистую посуду и уносили грязную. Жить в этой комнате было нельзя, но в ней жила Клавдия Алексеевна – Клавсевна. Каким-то образом между тремя постоянно открываемыми и закрываемыми дверями, креслом, телевизионной тумбой, книжным шкафом и окном вдвинулась узкая девичья кровать, на которой Клавсевна и спала – в сидячем положении, как на средневековых картинах.

Можно прикинуть на скорую руку: в доме пятнадцать человек, из которых половина – дети, то есть считай сразу двадцать пять, – ведь ребенок всегда одновременно находится в двух местах, и квантовая теория не позволяет точно определить координаты этого места; двадцать пять человек регулярно едят три раза в день и нерегулярно – то есть врываясь на веранду за яблоком или пряниками – еще два раза, всего пять. Двадцать пять помножить на пять – у меня получилось сто двадцать пять, не знаю, как у вас, – проходов через зеленую комнату только за едой, а еще прибавить возню с телевизором, крики и споры, что смотреть: мультики или вечерние известия, а если бокс? а художественный фильм? а тем более детектив? А хождения взрослых туда-сюда, чтобы подметать, гладить белье, носить дрова, а пробегания детей с воплями, если игра в пятнашки или что-нибудь более злокачественное? Посреди этого ада кроткая Клавсевна могла существовать только при условии полной своей невидимости, и она наловчилась становиться невидимой вплоть до полного исчезновения.

Невозможно себе представить невидимой тетю Лелю. Своя чашка, которую не тронь, свой стул, который не сдвинь, громкие простодушные рассказы глухого человека, – «И тогда доктор мне сказал: помните, у вас есть друг! И я подумала: это он так про себя говорит, и я ему очень за это благодарна. А он продолжает: ...творог! Помните, что у вас есть друг: творог!» – тетя Леля ясно и твердо обозначила свое присутствие, проложила в нашей жизни свою колею, заставила с собой считаться.

Или няня, человек упрямый и жестоковыйный, любившая нас, но не одобрявшая наш образ жизни и постоянно ворчавшая на всех, тоже была очень даже видима, и ее присутствие висело в каждой комнате, как запах. Днем мы были для нее «олухи царя небесного» или «сокровище дурное», вечером она вздыхала: «все вы хороши, пока спите»; когда старшие

сестры бегали на свидания, няня приговаривала: «вот позашивать бы вам всё!», и нам, младшим, было страшно любопытно: что надо позашивать-то? – но няня не уточняла.

А Клавсевна была невидимой. Было одно кресло на веранде, в котором она очень любила сидеть, но это кресло считалось папино, и когда папа приезжал на выходные и входил на веранду, Клавсевна просто растворялась в воздухе, только тень мелькала. Я не помню ее ни в одной комнате, не считая зеленой, она никогда, по-моему, не поднималась на второй этаж, на кухне она притворялась подсобным предметом, вроде плиты с мантрой «только левый – слабый нагрев», в саду сливалась с кустами. Она была сдержанна и редко говорила, но дело совсем не в этом, от нее просто не исходило никаких помех, она не посылала сигналов, не источала энергетических волн.

Выглядела Клавсевна интересно. Ей было под семьдесят, но личико у нее было пикантное, и в молодости, должно быть, она была прехорошенькой. Вздернутый острый носик, смеющиеся голубые глазки, слабый пух на плешивой голове, высокий рост, – можно было, напрягая воображение, представить себе, какой милашкой и стройняшкой она когда-то была. Ума у Клавсевны, слава богу, не было; он очень мешал бы ей в жизни; Клавсевна верила только Господу Богу и врачам, которые велели ей два раза в день капать в глаза желтые капли, спать на приподнятой подушке и не смотреть в темноте.

Не смотреть в темноте! Клавсевна понимала это буквально и переубеждению не поддавалась. Она устроила свое ложе, расположенное на перекрестке всех дорог, так, чтобы за ее спиной воздвигалась крепостная стена из подушек и подпорок, мешающая ей лечь горизонтально, она зажигала свет и сидела в кровати посреди толпы, смотря перед собой с деликатной улыбкой человека, не желающего никого беспокоить своим присутствием, пока Морфей естественным образом не смежал ей очи, что ее несколько беспокоило. Ведь если закроешь глаза, то будет темно, а доктор не велел. Отправляясь, по другим естественным надобностям, в дальний угол сада в детище Курчавенького – коллективную уборную, – Клавсевна и там боялась смотреть в темноте, а потому сидела над одним из отверстий по выбору, распахнув дверь настежь.

Это заодно позволяло ей издалека увидеть, кто идет по дорожке, направляясь по тем же надобностям, и немедленно исчезнуть, никого не беспокоя.

До выхода на пенсию Клавсевна была машинисткой в какой-то конторе, торговавшей рассыпной пудрой («Белая ночь», «Кармен», «Ландыш»), цветочными одеколонами («Красный мак», «Шипр», «Сирень») и прочей сладкой женской парфюмерией. А наш сосед через дорогу, угрюмый куркуль Михаил Константинович, работал в той же конторе бухгалтером, и вот как-то раз, вскоре после войны – мы еще жили тогда в Белом Доме, – он поведал своим сослуживцам о том, как прекрасны сосны в нашем озерном краю, как пустыни берега Хеппо-Ярви, и посоветовал нашу местность для оздоровительных прогулок под летними зонтиками; Клавдия Алексеевна, как девушка очень немолодая и сильно одинокая, приехала в наш поселок с подругами и на прогулке увидела – тут ее сердце приостановилось – мою четырехлетнюю сестру Наташу; а у всех, кто видел Наташу, сердце останавливалось. Сероглазая, в светлых локонах, похожа она была на волшебную огорченную куклу, и смотрела так, словно она потерялась, а все ее родные погибли, но она не жалуется, а просто тихо горюет. Даже многодетные родители хотели бы ее схватить на руки и немедленно осыпать поцелуями и удочерить, а уж Клавсевна-то!..

Она стала ездить на озеро Хеппо-Ярви, чтобы смотреть на Наташу; та гуляла с няней; Клавсевна задружилась с няней. Няня была сурова: видела Клавсевнины лисьи ходы насквозь, держала ее на расстоянии, но Клавсевна была тиха, безвредна, покорна и восторженна; правильная тактика, – и няня смилостивилась, разрешила Клавсевне быть.

Так прошел год, два, Клавсевне пора было на пенсию, и она послушно вышла на пенсию, и стала получать свои тридцать два рубля – триста двадцать старыми, – пожизненно. В начале пятидесятых это было, наверно, еще ничего, но с каждым годом цены-то росли, а пенсия-то

оставалось прежней. Сначала она, как квалифицированная машинистка, еще подрабатывала, брала работу на дом, хоть и панически боялась фининспектора, но потом у нее ослабли глаза, и доктор прописал ей желтые капли и запретил смотреть в темноте, да и на свету она видела не то чтобы очень.

Прошел еще десяток лет, родились мои младшие брат с сестрой, им понадобилась няня для гуляния. Наша-то няня уже была стара, – и она сама предложила маме свою, уже, можно сказать, старинную подругу Клавсевну: зимой Клавсевна не справится, а летом – за милую душу. И Клавсевна стала гулять с малышкой за кров и еду и какую-то малую зарплату.

Сестра Наташа уже была не той огорченной куклой, она выросла, занималась спортом, ходила на стадион толкать ядро; она была девушкой на выданье, – а может быть, надо было позашивать ей всё, – но Клавсевна видела в ней ту, прежнюю, потерявшуюся девочку, и когда Наташа приезжала на дачу, ходила за ней хвостом.

Люди в нашей семье делятся на ужаленных Белым Домом и не ужаленных. Я – из ужаленных. Иду ли я по улице или лежу без сна, открыты мои глаза или закрыты – в любую минуту я могу взойти по деревянным ступенькам на черную террасу, открыть дверь, пройти через тесный коридор с какими-то коробками, с висящими на крючках летними пальто – тогда они назывались пыльниками, забытое слово, – вдохнуть тот воздух – настоек тех цветов, той детской загорелой кожи, хозяйственного мыла, кипяченого молока, – коснуться перил лестницы, ведущей в мезонин, ее серо-голубых балясин, – и налево, в комнату, где печка с зелеными изразцами и двумя ошибочными синими. Июль. Мне пять лет. Няня говорит, что у нас родилась сестра, ее будут звать Олечка, и сейчас мы пойдем гулять и встретим машину с папой, мамой и этой новой сестрой.

Мы долго идем в гору – это настоящая высокая гора, через несколько лет на ней построят трамплин. С горы видно далеко, виден дальний берег синего озера Хеппо-Ярви, дальний пустой берег, ведь там никто не живет, там нельзя жить, там полигон, и раз в день там раздается гром – это взрыв снаряда, *l'éclat d'obus*, – невидимая пушка стреляет так, что дом вздрагивает и стекла дребезжат, надо звать Курчавенького с замазкой. Никто не видел полигона, но все знают, что он там, за полянами с горькушками, за болотами с белым дурманом, за малинниками, за ежевичниками, за разливами иван-чая. Мы стоим и смотрим из-под руки: там далеко посреди далекого леса далекая чистая поляна, и на ней два дерева, как два брата или две сестры. Там – рай.

Няня ведет нас мимо чайной с нетрезвыми мужиками, мимо керосинной лавки, где мама покупает керосин для примуса, – это еще эпоха дров и примусов, еще не продают газовые плиты, еще не придумана бестолковая мантра «только правый – средний нагрев». Мы заходим в аптеку, там всё травы, травы, травы, пахнет шалфеем, ромашкой, сушеным липовым цветом; тут работал наш Янсон, мы еще не знаем, что купим его дом, а из Белого Дома уйдем навсегда. Няня выбирает себе какую-то траву, и мы выходим на большак. Пыль.

Вот едут, вот наша «Победа» останавливается, и в ней – папа, и мама, и кулечек с нашей новой сестрой; мама отводит с маленького красного личика кружавчики. Это Олечка. Она проживет на свете тридцать шесть лет.

Если долго смотреть через синее стекло, кто-нибудь умрет. Не совсем, не безнадежно, – ведь смерти на самом деле нет, – но его уже не будет тут, среди нас, его нельзя будет потрогать, поцеловать, вдохнуть запах волос или шеи, взять за руку, спросить, посмотреть в глаза, – этого вот уже нельзя будет. Они уходят от нас в эту серую, сумеречную страну, лежащую за синим стеклом; если приблизить лицо к стеклу и долго смотреть, то в шуме и волнении сада, в колыхании ветвей на ветру, в печальном цветении серого жасмина, в море серой сирени проступают, кажется мне, их лица, их руки; они смотрят и машут нам, они нас заметили. Может

быть, им, с той стороны, весело и светло, может быть, они играют в мяч или просто плавают на воздушных кораблях над нашими садами – глубоко запускают руку в теплый воздух и выдергивают цветы вместе с их длинными стеблями, и обрывают лепестки, и гадают о чем-нибудь – почему же им не гадать, – может быть, это мы, с этой стороны синего стекла, представляемся им серыми, и тоскующими, и запертыми, и недоступными, – не знаю. Но синее окно – это окно печали, и не надо в него смотреть ни долго, ни пристально.

У наших друзей, верхних жильцов Белого Дома, живших в мезонине – там, где яды, и трюмо, и лиловый халат, – утонула домработница. Она пошла купаться на озеро Хеппо-Ярви, заплыла «на обрыв», и ее затянуло в омут. Помню страшное волнение, словно ветер, пронесшееся по всем домам нашего соснового перешейка, помню, как одни взрослые побежали, а другие не пускали нас смотреть и загораживали; я так и не увидела утопленницу. Конечно, это правильно, я бы и сама не пустила детей смотреть на бездыханную девушку, но оттого, что я тогда ее не увидела, я теперь вижу ее всегда. Я не помню ее лица, не знаю имени, их много тогда было, молодых послевоенных девушек, нанимавшихся в прислуги, чтобы только уехать из постылой деревни, где нет парней и работа вся – на скотном дворе, а тебе хочется любви, и поцелуев, и свободы. Я помню только запахи этих женщин – пот, и дешевая розовая пудра, и особый запах девичьей кожи, – мужчина пахнет иначе, он пахнет мотоциклом, это не перепутаешь. Девушки крутили любовь с солдатами из воинской части, расположенной неподалеку, а потом отчего-то плакали, увольнялись и исчезали. Были Нины, и Валентины, и Люба, которая шила, и Клавдия, и Зоя, от которой осталась розовая полукруглая гребенка, и красивая Маруся, задержавшаяся надолго, потому что у нее была сухая полиомиелитная нога, и никто не хотел на ней жениться.

Которая из них утонула, не знаю, поэтому та, невидимая, лежащая на озерном берегу, на траве, за переступающими ногами взрослых, суесящихся, склоняющихся, была всеми – и Ниной, и Клавдией, и другой Ниной, и Зоей. Она была всеми, она лежала на спине, на боку, ничком, прислоненная к дереву, укрытая одеялом, голая, в ситцевом купальнике в мелкий цветок, в оранжевый горох, в синем шерстяном; в нижнем белье, розовом атласном, белом хлопчатобумажном, в долгополой почему-то ночной рубашке, облепившей бледное молодое тело. Она была сестрицей Аленушкой, взывавшей из толщи вод: «Братец мой, Иванушка! Тяжел камень ко дну тянет, шелковы травы ноги спутали, желтые пески на грудь легли!».

Потом взрослые говорили, объясняли, что дно озера Хеппо-Ярви устроено так: сначала все гладко, гладко и неглубоко, а потом вдруг раз! – и страшный обрыв, но не просто обрыв, а обрыв с омутом, впадиной, пещерой, и если ты плаваешь там, на этой линии обрыва, то тебя может затянуть под гладкий берег, как под крышу, как под навес.

Между миром родителей – книги, наука, здравый смысл, вообще, так сказать, энциклопедизм и просвещение, и миром няnek – сказки, мифы, страхи, приметы, ночные шорохи, – располагался мир детей, пытающихся понять, не знающих, как спросить. Непонятные вещи. Непонятные люди. Солдат, например. Из мира взрослых, скажем, долетали слова о том, что очередная «Нина» опять ушла вечером с солдатом, и что это ведь ничем хорошим кончиться не может, о-хо-хо. Няня же, пугая нас и принуждая к послушанию, угрожала тем, что вот, придет солдат и заберет тебя в мешок, и унесет с собой. Это было и страшно, и непонятно, а доказательством того, что такая практика – уносить в мешке – существует, были картинки к сказке «Маша и медведь», где, как все помнят, прямоходящий медведь несет через темный лес девочку в корзине с пирожками.

Ужас. Солдат, медленно ступая, входил на черную террасу Белого Дома, снимал не спеша крепкий заплечный мешок. Куда он меня понесет? Зачем он меня понесет? Что будет потом? Бросит ли он меня в воду, чтобы меня затянуло под берег и шелковы травы мне ноги спу-

тали? Станет ли он точить ножи булатные? Или, может быть, неведомо как сойдя с большой, засиженной мухами фотографии, выпускники Технологического Института, в усах и овалах, засыпят меня желтой удушливой бумагой, так что я буду задыхаться, и бить ногами, и просыпаться с криком и сердцебиением, – няня, няня!

В этой комнате с темно-зелеными изразцами и двумя ошибочными синими не было занавесок. Я помню осеннее ярко-золотое и прозрачное утро, когда я проснулась от света, залезла на подоконник и, стоя на коленках, смотрела в окно. Мир за окном был таким, каким он, наверно, был изначально задуман: весь из золота, тишины и добра. Вот бесшумно слетел еще один лист. Мне было лет пять. Мыслей у меня не было. Было – возникло в то утро и не прошло до сегодняшнего дня – осознание своего, отдельного от других, «я».

А стало быть, за этим должно было последовать изгнание из рая, и оно последовало, и мы покинули Белый Дом, и ворота, ведущие в него, захлопнулись, и пути в него были для нас навеки завалены.

Конечно, мы все любили свою кривую, сырую, нелепую дачу. Она была наша собственная, никто нам ничего тут не запрещал, и можно было делать с ней что угодно. Например, на чердаке, под самой крышей Курчавенький строил, да так и не достроил две комнаты. Но в каждой были и дверь, и окно, и какой-то потолок из вагонки, так что не обязательно было обращать внимание на недостатки. Я присвоила себе одну из них и зачем-то покрасила раму окна в радостно-красный цвет; получилось отвратительно, и я торопливо перекрасила ее назад в белый, но красный все равно просвечивал, и я наносила краску слой за слоем, пока окно вообще не перестало закрываться.

Мне понравилось красить, и я выкрасила все, что могла, пока краска не кончилась: оконные рамы, двери на веранду, пороги, и даже черный дореволюционный буфет – янсоновское наследие – выкрасила, к маминому огорчению, в белый цвет.

Каждый день мы покупали у одних соседей молоко – большую трехлитровую банку, у других – клубнику или малину. Сначала мама пыталась сажать клубнику сама, но потом сдавалась и махнула рукой. От Янсона осталось прекрасное хозяйство, у него было все, от крыжовника до кроликов, он разводил кур, держал поросенка, в саду у него росли яблони разных сортов, вишневые деревья и даже одно сливовое, которое мы считали какой-то мусорной бесплодной ольхой, пока оно вдруг не сошло с ума – раз в несколько лет с деревьями это случается – и не обсыпалось сначала чудными цветами, а потом и плодами, несъедобными, но это же неважно.

У него даже когда-то была корова, у Янсона, так что к дому был пристроен коровник, но когда мы купили дом, коровник уже давно был превращен в большой чулан со шкафами и полками вдоль стен, и не было даже следа ее, этой забытой коровы, и мы не знаем, какая она была, какого цвета, и как ее звали, и были ли у нее дети, и что с ней стало – окончила ли она свои дни повернутая на котлеты, или пала от старости или болезни; только в парные, предгрозовые дни, когда от земли поднимаются запахи, в коровнике слабо-слабо, будто повеял ветерок с залетейских пастбищ, пахло животным. В маленькое оконце входил вечерний луч, пыль сеялась в луче, не взлетая и не оседая, но вечно пребывая, вечно кружась, и коровья тень проходила, тяжело ступая, вздыхая, из одного сумрачного угла в другой.

Когда-то коровы были чуть ли не у всех в поселке – кроме Белого Дома, конечно, Белый Дом коров не держал, – но в какой-то момент властям там, наверху, опять что-то пригрезилось и вышел указ срубить все яблони и сдать всех коров в колхоз. Покорные заплакали, порубили и яблони, и коров – не отдавать же их, действительно, чужим людям, – но некоторые рассудили, что монарший гнев пролетит и тучи снова рассеются, и затаились. Одна соседка, уж очень любившая свою телку, завела ее в лодку и отвезла на необитаемый остров на озере Хеппо-Ярви – у нас он назывался Ландышевый остров – и та бродила по нему, ничего не понимая,

и, вероятно, жевала эти ландыши, а хозяйка ездила к ней на утреннюю дойку – в тумане по гладкой воде, и на вечернюю – по бурным айвазовским волнам, с ведром и чистыми бидонами для белого этого, ландышевого молока.

У Янсона не было детей, только жена (на фотографии я вижу ее с коромыслом среди кур, на фоне сарая с поросенком), поэтому он мог посвящать все свое свободное от аптеки время кроликам или вишням, в нашей же семье детей было видимо-невидимо, не успели подрасти младшие, как старшие нарожали своих, – маме было не справиться с садом-огородом, так что все аптекарское хозяйство понемногу пришло в запустение: яблони вымахали высотой с сбсны, крыжовник выродился, персидская сирень перестала цвести и стояла метла метлой, а турецкая гвоздика ушла со своих грядок, и мы иногда находили ее среди сорняков у забора.

Мы не любили работать в саду, мы любили сидеть вечерами на крыльце, или играть в карты, любили читать или играть в шарады, или сочинять стихотворную чепуху – это когда каждый пишет по две строчки, передавая по кругу написанное. Иногда подключался и папа, тогда чепуха приобретала компактность и смутный оттенок политической крамолы:

Мао Цзе-дун, призвавши Го Мо-жо,  
Сказал ему: «Послушай, братец,  
Хочу тебе я подарить ружжо,  
Но только ты не смей патроны тратиць.  
И, казни ждя,  
Люби вождя».

Мама проходила мимо нас с секатором, или граблями, или тяпкой, она что-то делала в саду до темноты, подавая нам пример трудолюбия, – бесполезный пример, мы не двигались с места, если мама специально о том не просила, а она не просила. Иногда спазм совести все же охватывал кого-либо из нас, и мы говорили ей вслед: «Мам! Ну завтра я там прополю, ладно!», и мама бесстрастно отвечала: «Морген, морген, нур нихт хойте, – заген алле фаулен лёйте», что по-немецки означало: завтра, завтра, не сегодня, – так ленивцы говорят!

(Потом, позже, через много лет, когда советский строй развалился и на смену ему пришли времена демократические, а потому работа на общее благо стала смешным и презренным анахронизмом, питерские дворы быстро заросли мусором, но на субботники никто уже не выходил. Вернее, выходили двое: дворничиха и мама. Маме было уже к восьмидесяти. Она надевала брезентовые рукавицы, повязывала голову косынкой и шла убирать бутылки, проступившие к весне из-под снега, подметать смерзшиеся собачьи какашки, сгребать бумагу, пакеты и наркоманские шприцы. В телевизоре Собчак лалял о демократических принципах, все увлеченно смотрели; мама проходила мимо, ничего нам не говоря. «Мама, ну посиди уже, хватит!» – «Мусор сам себя не уберет. Мы хотим жить в чистом дворе?»)

Помимо ландышевой коровы, была корова Эйманов, но к Эйманам ходить было далеко и лениво – метров триста по дороге, заросшей густой травой. Там была непонятная, объятая печалью Вера Эйман, умевшая выводить бородавки четвертушками яблока: одну четвертушку привязать к бородавке, три зарыть, сказать волшебные слова: «Трое едут на лошади: возьмите куриную жопку с собой!» – и через неделю от бородавки не оставалось и следа: трое на лошади слушались. Эта Вера когда-то – до 1914 года – была костюмершей у балерины Анны Павловой, она одевала и раздевала великую женщину, чистила ее лебединые пачки, благоговела, объездила с ней весь мир. Она выносила и показывала нам бархатные альбомы с фотографиями, с автографами: «Милой Вере...» Вот стоишь, маешься с трехлитровой, оттягивающей руку банкой – ну ладно уже, можно я уже пойду?.. а Вера всё переворачивает картонные, бывшие

кремовые, листы дрожащей рукой: видите? вот тут тоже: милой Вере... Потом Анна Павлова осталась жить в Англии, а Вера вернулась в Россию, чтобы выйти замуж.

Она и вышла, то есть она думала, что вышла, но собственно брак как таковой все никак не совершался и *les cris de passion* не оглашали темные своды супружеской опочивальни: муж нежно целовал Веру в лоб и выходил из комнаты, притворив за собой дверь. Вера была невинной девушкой, но какие-то туманные представления о смысле супружества все же имела: так день шел за днем, и ночь сменяла ночь.

Наконец, она отчаялась дожидаться обещанных, вроде бы, перед алтарем ласк и, не понимая, что это все значит и не зная, кого спросить, поднялась со своего стылого ложа и постучалась в комнату свекрови – за советом. О ужас, о бездны: слабый свет керосиновой лампы, тени, и кружева, и разбросанные простыни: да, ее муж предавался любовной страсти с собственной матерью в постели, где та его родила и, как оказалось, в свой срок сделала своим любовником и за тридцать лет так и не отпустила.

Вера повесилась. Но муж вынул ее из петли, привел в чувство и повесился сам. Его уж никто не откачивал.

Больше она замуж не выходила, так и иссохла среди бархатных альбомов, наполненных чужой волнующей красотой. Говорили, что после случившегося мужчины вызывали у нее ужас. Я не знаю, – когда она передавала нам банку с молоком, бережно размещая ее в клеенчатой сумке, думала ли она иногда, что ведь можно было иначе, что можно было забыть, пережить, полюбить живого человека, родить детей, вскормить их собственным молоком, собственным телом, так бездарно проведенным на обочине жизни отпущенный ему земной срок? Или она вся ушла в эту лебединую белизну прошлого, в эту мечтательную, возвышенную грусть, в эти пуанты, в эти банты, ленты, воланы и кружева, которые сама же и отбеливала жавелевой водой, отглаживала и плоила маленьким чугунным утюгом?

Именем Анны Павловой назван нидерландский самолет, и австралийский торт, и даже какие-то гаптофитовые, прости господи, водоросли, имя ее гремит, и это все замечательно и великолепно, но пусть она там, по ту сторону синего стекла знает, что и тут, в глуши сосновой, в тени Белого Дома вечная девушка Вера всю свою долгую грустную жизнь тоже любила ее и после вечерней дойки гладила ее прохладные фотографии, как некогда гладила оборки.

Клавсевна нанята была выгуливать малышку, Ольгу и Ваньку, чтобы не путались под ногами, тут и без них дети росли в три яруса. Идешь куда-нибудь, болтаясь, понятно, без дела – вон они: расположились у какого-нибудь песочного обрывчика, у поваленной сосны: Клавсевна в красном полупальто, видном издали – на корнях, Ольга и Ванька лепят куличики или возят машинки-грузовички: жу-жу-жу. Не знаю, что она им там рассказывала и чем развлекала, но у них завелся невидимый персонаж по имени Федор Кузьмич, никакого отношения к фигурам историческим, как я понимаю, не имевший. Так, всплыл откуда-то, и вот уж он тут. Федор Кузьмич был ролевой моделью: он всегда доедал всё до конца, не вылизывал блюдце даже из-под малинового киселя, не выплевывал косточки прямо на стол, а только в ложечку, а уж потом уже – на краешек тарелки. Перед тем как войти в дом, Федор Кузьмич вытрясал песок, набившийся в сандалики, и отряхивал с себя сосновые иголки. Он *думал* о том, что маме подметать придется. Федор Кузьмич не болтал ногами за столом, не ковырял в носу, не рисовал на клеенке цветными карандашами. Он – конечно! конечно же! – не заваривал чай в ведрах свежей воды, принесенных с озера, как это делала Ольга, он не бегал вот прямо ногами по черничным пирогам, отдохавшим под кухонными полотенцами, как это делала она же, он не перемешивал – быстро-быстро – сахар и соль, глядя невинным и наглым взором на застигших вас, Ольга Никитична, за таким занятием! и пусть вам пять лет, и пусть вы самое неуправляемое существо на много километров вокруг, – носик кнопкой, кудри штопором, – Федор Кузьмич, степенный и образцовый, не одобряет такое непонятное озорство и безобразия.

Обрывки этого эпоса доносились до моих ушей; Клавсевна деликатно шелестела, малышня что-то усваивала.

Сейчас, когда Ольги давно уже нет с нами, а мы прожили свои жизни и скоро уйдем за стекло, я позвонила брату Ивану в другую страну, чтобы спросить: а что это всё было? кто он был, этот Федор Кузьмич? откуда взялся, куда ушел? – но Иван не помнит. Был и был. Значит, опять только я, я одна – свидетель существования этих титанов и их полуразрушенных жилищ.

Ты помнишь дворец великанов,  
В бассейне серебряных рыб,  
Аллеи высоких платанов  
И башни из каменных глыб?

Как конь золотистый у башен,  
Играя, вставал на дыбы,  
И белый чепрак был украшен  
Узорами тонкой резьбы?

Ты помнишь, у облачных впадин  
С тобою нашли мы карниз,  
Где звезды, как горсть виноградин,  
Стремительно падали вниз?

Мне было лет двенадцать, когда я сняла с полки тоненькую старую книжку и прочла эти стихи. Мне показалось, что они обращены ко мне: когда из книги говорят «ты помнишь?», то мне кажется, что да, я помню. Да, кажется, помню. Что-то такое припоминается. Я, правда, не знаю, что такое чепрак, и мне до сих пор лень узнать, но это, наверно, больше по вашей части, Николай Степанович, а горсть виноградин – это пусть будет мое. Я прочитала, и послушно вспомнила, и сразу дворец великанов представился мне Белым Домом, – ведь и белые колонны, и темно-зеленые изразцы, и гладкие серо-голубые балясины уходящей далеко вверх лестницы были в моем детстве исполинскими, а окно мансарды упиралось прямо в крону сосны, и шишки ее стучали в стекло на ветру, так что и до облачных впадин было совсем рукой подать.

Федор Кузьмич, очевидно, был из породы титанов, тех, кто населял землю едва ли не до появления человека, – великолепный житель Золотого Века, не равный, конечно, демиургу Дмитриеву, сотворившему наш мир по своей прихоти и увидевшему, что это хорошо, но сопоставимый с ним. О двенадцати подвигах Федора Кузьмича пели слепые аэды на пыльных и шумных торжищах, в тени камышовых навесов; ушлые люди показывали за маленькую денежку скалу, где ступала циклопическая, размером с кровать, нога Федора Кузьмича, отвесную стену, заросшую плющом, где Федор Кузьмич ткнул своим посохом – и заструилась сладкая вода. Вот тут Федор Кузьмич исцелял расслабленных, а вон там победил Минотавра. Радуга в небе, громовой удар снаряда на невидимом полигоне, два дерева-близнеца на дальнем, недосыгаемом берегу, – все это были следы Федора Кузьмича, долго еще остававшиеся в этом мире, пока Золотой век не ушел – а я и не заметила, как это случилось, проморгала, – и на смену ему пришли Крында и Смякс.

Брат сказал мне, печальным телефонным голосом, что хорошо помнит: после Федора Кузьмича были Крында и Смякс. Да, ему тогда было пять, а Ольге шесть, да.

Так мельчают поколения, так вырождаются цари, так гибнут великие царства, и пески заносят Сфинкса по грудь, и там, где возвышались храмы, теперь лишь валяются и белеют колобашки колонн, зарастая по весне алыми маками.

Сестра Катерина родила троих детей и, как самая старшая и совестливая из нас – по ее же утверждению, – решила разгрузить маму, да и вообще дачу, хоть на один месяц: спали мы уже слоями, ели в две смены. Она нашла себе молодую няньку Тосю, девушку шестнадцати лет с носом тапира и оттого немного гугнивую; издали было видно, что кадр туповатый и ненадежный, но Катерина любила смелые социальные эксперименты и верила в равенство всех живущих – поперек всякого здравого смысла. Она купила билеты на поезд до Феодосии: конечной целью любого из нас был Коктебель, имевший ценность не просто как пляж на море, но как место сакральное. Дед дружил с Максимилианом Волошиным еще в те дни, когда волошинский дом одиноко стоял на пустынном берегу, а у волошинского профиля, созданного рисунком скал на далеком мысу, еще не начал проваливаться нос; отец дружил со вдовой Волошина и всегда ночевал в мастерской; позже он сказал мне, что я была зачата в этой мастерской, под ликом царевны Таиах – ее желтоватая голова слепо и таинственно смотрела перед собой, и черты казались загадочными, потому что ну ничего не выражали. Тогда пахло полынью, вся трава уже выгорела. Невидимые цикады стригли жаркий воздух маленькими ножничками. Начало августа, и волны немолчно били о пустой берег.

Мы ездили туда уже в третьем поколении, Катерина везла четвертое. Мама немного волновалась, просила дать телеграмму, как доехали. На третий день после отъезда кто-то пошел в двойной сортир – он был занят. Через десять минут он все еще был занят, через двадцать – тоже. Мы пересчитали друг друга; все были на месте. Подождали еще и пошли дергать дверь, она была заперта изнутри. Папа сильно дернул ручку и взломал творение Курчавенького. Внутри, белая от страха и отчаяния, сидела нянька Тося.

– Что случилось? Где Катя? – закричали родители. Нянька не отвечала.

– Катя где? Дети где? Что случилось?!

Нянька только отмахивалась головой. Ее вытащили и повели в дом, поили чаем, испуганно напирая и тряся: что? Ну что?

Наконец она разжала стиснутые зубы:

– Прнь Брнь свл.

– Что?!

– Прнь Брнь свл.

Еще чай, еще тревожные крики, безумные мысли, предынфарктное состояние (отец: о-о-о, я больше не могу! немедленно говори!!! Мама, как обычно, хранила железное спокойствие). Наконец гласные звуки вернулись к девушке, и она, тяжело шевеля языком, произнесла:

– Парень в Брянске свёл.

Кого он свёл? Куда он свёл? Тут как раз принесли и телеграмму; почтальонша не решалась войти в калитку, так как собака Ясса хрипела от ненависти ко всем государевым людям: почтальонам, земельным инспекторам, солдатам и вообще любому, кто приходил по делу и в сапогах; папа оттащил разъяренную Яссу от ворот и забрал телеграмму; Катерина писала: **НЯНЬКА БЕЖАЛА ГРУЗИНОМ ЗПТ ВСЕ ХОРОШО ЗПТ ЕДИМ ФРУКТЫ ТЧК.**

Когда позже собрали вместе всю разрозненную мозаику, выяснилось, что вскоре после Калуги, еще прежде, чем воздух станет нежным, южным, томным и вместо вареной картошки и соленых огурцов бабы на станциях начнут совать в открытые окна вагонов семечки и горячую кукурузу, в поездах уже приступают к работе брачные аферисты. Красавец грузин, заломив соболиные брови и интенсивно горя горячими очами, привычно изобразил внезапную страсть, вспыхнувшую в его сердце к коротконогой, толстоносой Тосе, пообещал ей любовь до гроба и подарил лаковые туфли на каблуке. Пойдем со мной, и смерть нас не разлучит. Нянька кинулась к Катерине: в шатком купейном вагоне, между титаном с нечистым, железистым кипятком и грохочущим на стыках вагонным сортиром – вентиль запорный номер три и все такое, – вспыхнула любовь; вот так она и приходит, любовь; отпустите меня! Катерина попробовала

остановить: не верь мужскому коварству, – но девушка так полюбила – до слез, – что даже похорошела, и Катерина, благословлявшая всякое чувство, отпустила.

Потом все случилось быстро, слишком быстро, по сценарию: грузин посадил няньку в зале ожидания Брянского вокзала, забрав все ее деньги, и лаковые туфли тоже: он должен купить им билеты до родного Сухуми; жди тут; она прождала его до ночи, прежде чем смириться с тем, что это всё. Это конец. Непонятно, почему она поехала к нам на дачу, как добралась без денег и зачем засела в сортире, съездившись от ужаса.

Потом долго вспоминали ее, говорили о ней: как она будет жить-то в этом мире, с такой наивностью. Как такие живут-то.

А как все остальные живут.

Пройти в прошлое легко: смотри перед собой и иди; заборов нет, замков нет, двери открываются и впускают тебя. Никакие цветы не отцвели; ягоды не знают сезонов, яблоки не падают с разросшихся, как сосны, яблонь, но достигают облачных впадин и превращаются там в виноград и звезды. Старик Доброклонский, искусствовед, выводит на прогулку своих четырех такс. Он тоже живет в Белом Доме – наверно, въехал после нас, потому что я вижу его с этой, с нашей стороны забора; нам уже не гулять, не играть в мячик на огромной, вытертой поляне, называемой «лысиной», а ему можно, он нагибается, отстегивает поводки, и дряхлые кривоногие таксы разбегаются по поляне; одна, с синеватыми бельмами на старческих глазах, ковыляет ко мне и тявкает на меня с той стороны проволочной сетки. Ясса, запертая в доме, от возмущения извелась, колотится в окно, охрипла: как смеют??? как смеют??? Мама идет на озеро с ведрами, Доброклонский приветствует ее – доброкланяется, – приподнимает черную академическую шапочку. Мама говорит: он был другом Бенуа и Яремича, он был директором Эрмитажа. Папа говорит: на войне он потерял обоих сыновей.

Доброклонский пересекает уже не нашу поляну, скрывается за уже не нашими кустами сирени, и я больше не увижу его. А вы не знаете, а вы не знаете, как звали его такс, а я знаю! А я знаю! Пройдет еще пятьдесят лет – а хоть бы и сто, а хоть бы и двести – а я все буду слышать его высокий, благородный какой-то голос:

– Мышка, Манишка, Мурашка, Манжет!..

Вот так их звали, и всегда в этом именно порядке.

Сначала не стало няни, и было непонятно, а как же теперь. Няня жила в нашей семье с маминого рождения, с 1915 года, того давнего, уже не мирного года, когда стучали первые молотки на строительстве Белого Дома. Уходила, возвращалась, задыхалась от астмы; на ночь зажигала красную лампадку; штопала хлопчатобумажные чулки на деревянном грибокке; на подоконнике держала в жестянке разрозненные пуговицы, тесьму и плоскую резинку: продергивать в теплые байковые штаны. Разрешала мне разбирать гречку, рассыпать на клеенке, делать пальцем пустой круг вокруг инородных вкраплений: чернушек, семян овса, бочоночков – всего того, что почему-то находишь в гречке. Няня пахла чистой, теплой, прокаленной на сковороде крупой. Морщинки на ее щеках были мягкие, в клеточку.

– Как ты кричала: нянечка, не уезжай! Нянечка, не уезжай! – а мне же отпуск, мне в деревню надо, к брату моему Петруше, уж как он ждет, братец мой, Петруша... нянечка, не уезжай! – мечтательно говорила она мне, а иногда, я слышала, и самой себе: стояла у окна, глядела куда-то и повторяла эти мои страстные слова. Да, я это кричала – ведь мы еще жили в раю, и я еще верила, что можно удержать человека любовью и криками.

Потом не стало тети Лели, не слышно было уже постукивания ее трости на лестнице, и можно было выходить и сидеть на веранде вразвалку, без опаски быть пойманной и уведенной на занятия французским; в буфете празднично стояла ее личная чашка, из которой она пила чай и

которую запрещала трогать; теперь-то пожалуйста – трогай, но никому уже этого не хотелось, и казалось, что это такая специальная фарфоровая могилка, белая, с рисунком из оранжевых кленовых листьев и стершейся позолотой. В тетилелиной комнате еще долго пахло духами «Желудь» и розовыми пионами, а может быть, так казалось, может быть, так хотелось.

Когда-то, давно, тетю Лелю на даче навестил племянник, он учился на художника. Провел на озере день и нарисовал на картонке эскиз: небо и облака. Больше ничего. Взрослые смотрели на это произведение живописи и говорили: «ну...». А мне облака понравились, это были кучевые, любимые облака, вечные странники, чистые небесные горы, в тот день они долго висели над озером Хеппо-Ярви, а потом ушли. Картонку поставили на буфет, а потом она завалилась в щель между буфетом и стеной.

Но однажды – через несколько лет – я достала ее, согнула проволоку кочергой и вытащила, вместе с толстой пылью, иссохшими мухами былых лет и зеленой ногой от детского пластмассового бегемота. Я забрала себе картонку, и так присвоила себе один день из вечности. В нем и лето, и полдень, и бессмертие. Конечно, бессмертие.

Потом уходили другие: вон та уйдет, вон тот. И, наверно, у каждого была какая-нибудь своя главная тема в жизни, какая-нибудь любовь, прожитая или придуманная, счастливая или неосуществившаяся. У каждого был человек, или мечта, или идея, или сад, или дом, вокруг которого, как вокруг солнца, кружилась их жизнь. Они уходили, и с каждым гасло и их солнце, и некому было уже говорить о нем, вспоминать, рассказывать, смеяться, качать головой.

Даже Курчавенький, смысл жизни которого, казалось бы, состоял в непрерывном осуществлении закона Ломоносова-Лавуазье: «если в одном месте отнимется, то в другом непременно прибавится», – даже Курчавенький был, как случайно выяснилось, страстным поклонником Николаева – того, что убил Кирова, или же был назначен его убийцей, – неясно же оно все, темно и запутанно. Я уже была взрослой, Курчавенький – дряхлым, и мама послала меня отнести ему какие-то лекарства. Я разыскала его квартиру на Петроградской стороне, во дворах унылой Пудожской, что ли, улицы: тесная комнатка с никогда не открывавшимися окнами, пыль, лето, спертый воздух. Какие-то дощатые столы, табуретки, полки – всё самострой, всё из натащенных досочек и украденных фанерок; все поверхности были завалены старыми журналами, конвертами, из которых пухло торчало, бумагами, сошедшими, как глетчер, с дивана на пол.

– Вот пишу! – горестно говорил Курчавенький. – В исторические журналы пишу! В Москву профессорам, в горком партии пишу, доказываю: не мог он, не мог! Я же его знал! Не мог Леонид Васильевич, оговорили его! А они мне всё отписки: благодарим за проявленный интерес... Не хотят вникнуть...

Он хотел говорить, объяснять мне, как там все, по его мнению, на самом деле было; окружающим он, видимо, давно уже надоел со своей правдой: какая тебе разница? все прошло; а я была человек свежий, хоть и случайно захожий. Я тоже не стала слушать, ушла по распадающейся, неверной лестнице вниз, и пока я спускалась, он все говорил мне вслед, и вышел на тусклую площадку, и говорил с нее, и говорил, свесив седую уже, но все еще курчавую, глупую свою голову.

Потом не стало и его.

Наташа обычно приносила Клавсевне кило сосисок; Наташа всегда была Клавсевнина потерявшаяся девочка, так оно и осталось. В этот раз она не смогла: ученики, дети, тяжелые сумки, два троллейбуса с пересадкой, – и попросила меня сходить. В первый раз, как странно; я не сразу нашла подъезд. Это был старый дом на канале Грибоедова, седьмой этаж без лифта, и, карабкаясь по неприятной лестнице черного хода, пыхтя, я думала: а как же она справляется?... Ей должно уже быть восемьдесят шесть?

Это была самая чистая и пустая из коммунальных квартир, мною виденных, а Клавсевнина комната, где она все жила и жила, волшебным образом законсервировавшись во времени, была самой пустой и светлой, и я не сразу поняла, почему. К стене притулилась узкая койка с двумя подушками торчком и тонким одеяльцем. В проеме между окнами – столик из желтой фанеры, зеркало в простой раме; веером приклеены Георг Отс в полумаске – «цветы роняют лепестки на песок», – Богородица и еще кто-то не опознаваемый. Занавесок на окнах не было – ведь доктор не велел смотреть в темноте, – так что белый летний вечер одинаково ровно стоял как на пустой улице, так и в пустой комнате. В окне – далекие ржавые крыши, трубы дымоходов, деревце, разорвавшее чужой балкон.

Она все еще была хорошенькая, Клавсевна, легкая и курносая, и даже длинноногая. Говорить нам с ней было не о чем, а вроде бы надо было, и она внезапно рассказала мне историю своей жизни – прямо там, ни с того ни с сего, сидя на девичьей коечке, с сосисками на коленях.

В 1914 году у Клавсевны был жених, красивый, влюбленный. Они шли под руку по Невскому, недалеко отсюда, кстати. На мостике через канал Грибоедова повстречали цыганок. Посмеялись, решили погадать. Цыганка сказала Клавсевне, что всякий, кто возьмет ее замуж, умрет. Еще посмеялись. Потом началась война. Его убили.

А в двадцать каком-то там году, когда она уже отплакала, оттопала, к ней посватался один чудесный человек, инженер. Она собиралась замуж за него, но он погиб. И она вспомнила цыганку и испугалась. А в конце тридцатых она ехала в поезде. И в купе познакомилась со старичком, профессором. Он все смотрел на нее, смотрел, а потом вышел за ней в грохочущий коридор и сказал ей: вы такая красивая! выходите за меня замуж! я вдовец, у меня взрослые дети, деньги у меня есть, я буду носить вас на руках.

И она попросила три дня, чтобы подумать. И по прошествии трех дней отказала старичку-профессору, потому что смерти ему, хорошему человеку, желать не могла.

И больше ничего не было. Ни женихов, ни любви, ни детей, – ничего, кроме витаминных капель в глаза и высоких подушек в постели.

– А ты... ты не купишь ли у меня открытку? И тарелочку? Мне бы три рубля, – сказала Клавсевна.

И я дала ей три рубля за открытку и тарелочку.

На тарелочке, обрамленной витой мешанской проволокой, трепетал плохо нарисованный жаворонок, и славянской вязью был выведен укор: «Что ж ты спишь, мужичок? уж весна на дворе». А на открытке изображен был солдатик с гармонью, и написано: «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя».

А что было написано на обороте и заклеено бумажкой – нам знать не надо.

– Как там Олечка? – спросила Клавсевна.

– Хорошо, – соврала я.

– Точеная фигурка... – вздохнула Клавсевна.

– Да...

Я хотела напомнить ей, что сосиски хорошо бы в холодильник, но, наверно, холодильника у нее не было.

У нее ничего не было.

Поэтому в комнате было так пусто и светло.

– На память тебе обо мне, – показала Клавсевна глазами на мои жалкие приобретения. – Может быть, вспомнишь иногда.

На пороге я обернулась, но она уже растворилась в воздухе и слилась с белым вечерним светом.

## Соня

Жил человек – и нет его. Только имя осталось – Соня. «Помните, Соня говорила...» «Платье похуже, как у Сони...» «Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня...» Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная комната – смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех – догони-ка.

Нет, постойте, дайте вас рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу – потеки клея от мочального парика, а голубые стеклянистые глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница! А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути – в самый неподходящий момент и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие – живите как хотите. Гоняться за вами – все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.

Ясно одно – Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед – в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, – истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было принято – домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

– А вы, Соня, – сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), – а вы, Соня, что же не кушаете?

– Перцу дожидаюсь, – строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незамеченности на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное увеселение, – по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сонины душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикивала: «Пей до дна!» – то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

«Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?», – спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко подняв лохматые брови, мотал головой, блеснул мелкими очками: «Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!» Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну,

конечно, слегка – так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу – Лев и Ада, – выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые – будто от другого человеческого комплекта, и косолапые ступни. Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги – это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была – эмалевый голубок. Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда передевалась в другое платье – тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги – их так легко испортить, а у нее выходило – пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: «Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!» – и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голосом говорила: «А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!» – «Это телячьи», – не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру – поживите пока у нас, Соня, ладно? – и, вернувшись, найти всё в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и – сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году – там ее следы обрываются – ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплунутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям – причем к любым, – все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было ли у нее счастье? О да! Это – да! Уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же – жизнь устраивает такие штуки! – счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфовне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией – Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще – и разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев называл

его «адским планчиком»), отлично им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать третий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не девочка, – фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у Сони – ни одного. (Ой, умора! У Сони – поклонники?!) И она предложила придумать для бедняжки загадочного воздыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиного отца – тут раздались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу? – но аргумент был отвергнут как несостоятельный: во-первых, Соня дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть – у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, – Николай то есть, – дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо «израненном», а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, – пишет далее Николай, – нет, лучше: истинное чувство – оно согреет его холодные члены («То есть как это, Адочка?» – «Не мешайте, дураки!») путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет – парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу «Шипром», Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только отгаскивай. Пришлось слегка сдерживать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном. Николай изошрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, – Николай сравнивал Соню с лилией, лианой и газелью, себя – с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: «Ты напиши ей, что она – гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!» Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намек на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: «Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...», наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его – в общем, смотреть надо было в сторону Пулково.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не подпускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, – надо же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе всё-превсё: и что ей снится, и какая пичужка где-то там прошебетала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмале-

вого голубка. «Соня, а где же ваш голубок?» – «Улетел», – говорила она, обнажая костяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая, как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев – там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все. Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимися пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня – старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Время все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок – не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце – уж говорите, что хотите – чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спасения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было – баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, – и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустилась на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку, благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться. Бомбили в тот день сильно.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек – и нет его. Одно имя осталось.

– ...Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма!

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камешка приколоты у горла, на камее кто-то кого-то убивает: щиты, копыя, враг изящно упал.

– Письма?

– Письма, письма, отдайте мне Сонины письма!

– Не слышу!

– Слово «отдайте» она всегда плохо слышит, – раздраженно шипит жена внука, косясь на камею.

– Не пора ли обедать? – шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы – с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку – приставать к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.

## Любишь – не любишь

– Другие дети гуляют одни, а мы почему-то с Марьиванной!

– Вот когда тебе стукнет семь лет, тогда и будешь гулять одна. И нельзя говорить про пожилого человека «противная». Вы должны быть благодарны Марье Иванне, что она проводит с вами время.

– Да она нарочно не хочет за нами следить! И мы обязательно попадем под машину! И она в скверике знакомится со всеми старухами и жалуется на нас. И говорит: «дух противоречия».

– Но ведь ты действительно все делаешь ей назло!

– И буду делать! И нарочно буду говорить этим дурацким старухам «не здрасьте» и «будьте нездоровы».

– Да как тебе не стыдно! Надо уважать стареньких! И не грубить им, а прислушиваться, что они тебе скажут: они старше и больше тебя знают.

– Я прислушиваюсь! А Марьиванна только и говорит что про своего дядю.

– Ну и что же она про него говорит?

– Что он повесился от болезни мочевого пузыря! А еще до этого его переехало колесом фортуны! Потому что он запутался в долгах и неправильно переходил улицу!

...Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики «песочное кольцо», которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, чтобы их распугать. Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски – для этого, в общем-то, ее и пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улицу давно уже не выходит, и двигается с трудом. Пушкин ее тоже очень любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: «Свиношка толстая моя!»

Но вот что удивительно – просто невозможно поверить, – но Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки! Эту девочку, Катю, Марьиванна вспоминает каждый день. Она не высовывала язык, не ковыряла в носу, доедала все до конца, обнимала и целовала Марьиванну – ненормальная!

Вечером, лежа в постелях, мы с сестрой придумываем разговоры Марьиванны и послушной Кати:

– Доешь червяков до конца, дорогая Катюша!

– С удовольствием, ненаглядная Марьиванна!

– Скушай маринованную лягушку, деточка!

– Я уже скушала! Положите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!..

В скверике, который Марьиванна называет «бульваром», бледные ленинградские девочки копаются в потемневшем осеннем песке, прислушиваясь к взрослым разговорам. Марьиванна, быстро познакомившись с какой-нибудь старушенцией в шляпке, вынимает из ридикюля твердые старинные фотографии: она и дядя прислонились к роялю, а сзади – водопад. Неужели в недрах этой задыхающейся туши погребено вон то белое воздушное существо в кружевных перчатках? «Он заменил мне отца и мать и хотел, чтобы я называла его просто Жорж. Он дал мне образование, он впервые вывез меня в свет. Вот эти жемчуга – здесь плохо видно – это его подарок. Он безумно, безумно меня любил. Видите, какой он тут представительный? А вот тут мы в Пятигорске. Это моя подруга Юлия. А здесь мы пьем чай в саду». – «Чудные снимки. А это тоже Юлия?» – «Нет, это Зинаида. Это подруга Жоржа. Она-то его и разорила. Он был игрок». – «Ах, вон что». – «Да. Выбросить бы этот снимок, да рука не

поднимается. Ведь это все, что от него осталось. И стихи – он был поэт». – «Что вы говорите!» – «Да, да, чудный поэт. Сейчас таких нет. Такой романтичный, немного мистик...»

Старушенция, балда, развесила уши, мечтательно улыбается, смотрит на меня. А нечего глазеть-то! Я показываю ей язык. Марьиванна, от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью: «Жуткое существо!» А вечером опять будет читать мне дядины стихи:

– Няня, кто так громко вскрикнул,  
За окошком промелькнул,  
На крылечке дверью скрипнул,  
Под кроваткою вздохнул?

– Спи, усни, не знай печали,  
Бог хранит тебя, дитя,  
Это вороны кричали,  
Стаей к кладбищу летя.

– Няня, кто свечи коснулся,  
Кто скребется там, в углу,  
Кто от двери протянулся  
Черной тенью на полу?

– Спи, дитя, не ведай страха,  
Дверь крепка, высок забор,  
Не минует вора плаха,  
Прозвенит в ночи топор.

– Няня, кто мне в спину дышит.  
Кто, невидимый, ко мне  
Подбирается все выше  
По измятой простыне?

– О дитя, что хмуришь бровки.  
Вытри глазки и не плачь,  
Крепко стянуты веревки,  
Знает ремесло палач.

Ну-ка, кто после таких стихов найдет в себе силы спустить ноги с кровати, чтобы, скажем, сесть на горшок! Под кроватью, ближе к стене – всем известно – лежит Змей: в шнурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке – крюк. Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу? И сразу – хватать крюком! Вряд ли съест, но затащит и пропихнет под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отставшими обоями – Индрик и Хиздрик: один зеленоватый, другой серый, оба быстро бегающие, многоногие. А еще в углу, на полу – квадратик медной резной решетки, а под ним черный провал – «вентиляция». К ней и днем-то подходить опасно: из глубины пристально, не мигая, смотрят Глаза. Да, но самый-то страшный – тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!). Много раз он принаравливается схватить, но как-то все упускает момент и медленно, с доса-

дой опускает бесплотные руки. Туго, с головой завернусь в одеяло, пусть один нос торчит – спереди не нападают.

Напугав дядиными стихами, Марьиванна уходит ночевать к себе, в коммунальную квартиру, где, кроме нее, живут еще: Ираида Анатольевна с диабетом, и какая-то пыльная Соня, и Бадыловы, лишенные родительских прав, и повесившийся дядя... И завтра она придет опять, если мы не заболеем. А заболеем мы часто.

Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, забьют в красные барабаны, обступят с восьми сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трехзначными числами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, – сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного! вот еще чуть-чуть! сердце не выдержит, лопнет, – но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких ножках по аэродромному полю – и затихло... только самолетики букашечными точками убегают по розовому небу и уносят в коготках черный плащ лихорадки. Обошлось.

Страхните мне крошки с простыни, остудите подушку, расправьте одеяло, чтобы ни одной складочки, иначе вернутся самолетики с коготками! Без мыслей, без желаний лежать на спине, в прохладе, в полутьме – полчаса передышки между двумя атаками барабанщиков. По потолку из угла в угол проходит светлый веер, и еще веер, и еще – автомобили уже зажгли фары, вечер сошел с высот, под дверь в соседнюю комнату просунули коврик света – там пьют чай, загорелся оранжевый абажур, и кто-нибудь из старших уже плетет из его бахромы недозволенные косички – «портит вещь». Пока самолетики не вернулись, можно, оставив среди чугунных простыней свою постукивающую жаром телесную оболочку, мысленно выскользнуть за дверь – длинная рубашка, холодные тапочки – подсесть невидимкой к столу – а эту чашку за неделю я забыла! – жмурясь, путешествовать взглядом по оранжевым горбам абажура. Абажур молодой, пугливый, он ко мне еще не привык – только недавно мы с папой купили его на барахолке.

Ах, сколько там было людей, сколько обладателей ватников и плюшевых жакетов, коричневых оренбургских платков! И все они горланили, и суетились, и трясли перед папиным лицом синими диагональными отрезами, и совали в нос крепкие черные валенки! Какие там были сокровища! А папа-то: все прошляпил, проворонил, ничего, кроме абажура, оттуда не унес. А надо было закупить всего-всего: и вазочек, и блюдец, и цветастых платков, и свиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков! Пригодились бы и кошки-копилки, и дуделки, и свиристелки, и бумажные цветы – маки с чернильными ватками в сердцевинках, и бумажные красно-зеленые дрожащие жабо на двух палочках: вывернешь палочки – и затрясется бахромчатое непрочное кружево, еще вывернешь – и схлопнулось в дудочку, и пропало. Мелькали изумительные клеенчатые картины: Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с золотыми коронами; он же что-то выделяет с конем... но папа тащит меня дальше, дальше, мимо инвалидов с леденцами, в абажурный ряд.

Мужик ухватывает папу за кожаный рукав:

– Хозяин, продай пальто!

Ай, да не приставайте к нам с глупостями, нам нужен абажур, нам вон туда, я верчу головой, мелькают веники, корзинки, крашенные деревянные яйца, поросенок – не зевай, все, пошли назад. Где он? А, вот. Продираемся сквозь толпу назад, папа с абажуром, еще темным, молчаливым, но уже принятым в семью: теперь он наш, он свой, мы его полюбим. И он замер, ждет: куда-то его несут? Он еще не знает, что пройдет время – и он, некогда любимый, будет осмеян, низвергнут, сорван, сослан, а на его место с ликованием взлетит новая фаворитка: модная белая пятилопастная раскоряка. А потом, обиженный, изуродованный, преданный, он переживет последнее глумление: послужит кринолином в детском спектакле и навсегда канет в помоечное небытие. Сик транзит gloria mundi.

– Папа, купи вон то, пожалуйста!

– Что там такое?

Веселая обмотанная баба, радуясь покупателю, вертится на морозе, подпрыгивает, потопыивает валенками, потряхивает отрубленной золотой косой толщиной в канат:

– Купите!

– Папа, купи!

– Ты с ума сошла?! Чужие волосы! И не трогай руками – там вши!

Фу-у-у, ужас какой! Я обливаюсь: действительно, огромные вши, каждая размером с воробья, с внимательными глазками, с мохнатыми лапками, с коготками, цепляются за простыню, лезут на одеяло, хлопают в ладоши, все громче и громче... Опять загудел бред, закричал жар, завертелись огненные колеса – грипп!

... Темная городская зима, холодная струя воздуха из коридора – кто-нибудь из взрослых вносит на спине огромный полосатый мешок с дровами – растапливать круглую коричневую колонку в ванной. А ну марш из-под ног! Ура, сегодня купаться будем! Через ванну перекинута деревянная решетка; тяжелые облупленные тазы, кувшины с горячей водой, острый запах дегтярного мыла, распаренная сморщенная кожа на ладонях, запотевшее зеркало, духота, чистое наглаженное мелкое бельецо, бегом по холодному коридору, и плюх! – в новенькую постель: блаженство!

– Нянечка, спой песенку!

Няне Груше ужасно много лет. Она родилась в деревне, а потом воспитывалась у доброй графини. В ее седенькой голове хранятся тысячи рассказов о говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную трубу, о Пушкине и Лермонтове. И она точно знает, что если съесть сырое тесто – улетишь. И когда ей было пять лет – как мне, – царь послал ее с секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: «Ни за что!» И выстрелил из пушки.

Няня поет:

По камням струится Терек,  
Плещет мутный ва-а-а-ал...  
Злой чечен ползет на берег,  
То-очит свой кинжа-а-а-ал...

Кольшется кисея на окне, из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна; из мутной Карповки выползает на обледенелый бережок черный чечен, мохнатый, блестит зубами...

Спи, моя радость, усни!

... Да, а французский с Марьиванной что-то не идет. Не отдать ли меня во французскую группу? Там и гуляют, и кормят, и играют в лото. Конечно, отдать! Ура! Но вечером французенка возвращает маме паршивую овцу:

– Мамочка, ваш ребенок совершенно не подготовлен. Она показывала язык другим детям, порвала картинки, и ее вырвало манной кашей. Приходите на следующий год. До свидания! О ревуар!

– Не досвидания! – выкрикиваю я, уволокиваемая за руку расстроенной мамой. – Ешьте сами вашу поганую кашу! Не ревуар!

(«Ах, так! А ну вышвыривайтесь отсюда! Забирайте вашего мерзкого гаденыша!» – «Не больно-то надо! Сами не очень-то воображайте, мадам!»)

– Извините, пожалуйста, с ней действительно очень трудно.

– Ничего, ничего, я понимаю! Ну что за наказание с тобой!!!

... Возьмем цветные карандаши. Если послушать красный, он дает особенно гладкий, атласный цвет. Правда, ненадолго. Ну, на Марьиваннино лицо хватит. А тут – громадная

бородавка. Отлично. Теперь синим: шар, шар, еще шар. И две тумбы. На голову – черный блин. В руки – сумочку, сумочки рисовать я умею. Вот и Марьиванна готова. Сидит на облупленной весенней скамеечке, галоши расставила, глаза закрыла, поет:

Я ехала домо-о-ой...  
Душа была полна-а-а...

Вот и ехала бы ты себе домой! Вот и катилась бы колбаской к своей Катюшеньке.

«...Жорж всегда брал мне халву у Абрикосова – помните?» – «Да, да, да, ну как же...» – «Все было так изящно, деликатно...» – «Не говорите...» – «А сейчас... Вот эти: думала, интеллигентные люди! А они хлеб режут вот такими ломтями!» – «Да, да, да... А я...» – «Я мамочке, покойнице, всегда только “вы” говорила. Вы, мамочка... Уважение было. А это, что же: ладно – я, чужой человек, но к родителям, к родителям своим – ну никакого... А за столом лезут вот так! вот так! и руками, руками!»

Господи! Долго ли нам еще терпеть друг друга?

А потом скверик закрывают на просушку. И мы просто ходим по улицам. И вот однажды вдруг какая-то худая высокая девочка – белый такой комар – с криком бросается на шею к Марьиванне, и плачет, и гладит ее трясущееся красное лицо!

– Нянечка моя! Это нянечка моя!

И – смотрите – эта туша, залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они – чужие! – вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви!

– Это нянечка моя!

Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка! Это наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая!

Но разве любовь об этом знает?

...Проходи, проходи, девочка! Нечего тут!.. Распустила нюни... Я тащусь, озлобленная и усталая. Я гораздо лучше той девочки! А меня-то Марьиванна так не любит. Мир несправедлив. Мир устроен наизуоборот! Я ничего не понимаю! Я хочу домой! А Марьиванна просветленно смотрит, цепко держит меня за руку и пыхтит себе дальше, вперед.

– У меня но-ожки устали!

– Сейчас кружочек обойдем и домой... Сейчас, сейчас...

Незнакомые места. Вечереет. Светлый воздух весь ушел вверх и повис над домами; темный – вышел и встал в подворотнях, в подъездах, в провалах улиц. Час тоски для взрослых, тоски и страха для детей. Я одна на всем свете, меня потеряла мама, сейчас, сейчас мы заблудимсяааааа! Меня охватывает паника, и я крепко вцепляюсь в холодную руку Марьиванны.

– Вот в этом подъезде я живу. Во-он там мое окно – второе от угла.

Под каждым окном нахмурили брови, разинули рты – съедят! – головы без туловища. Головы страшные, и сырая тьма подъезда – жуткая, и Марьиванна – не родная. Высоко, в окне, приплюснув нос к темному стеклу, брезжит повешенный дядя, водит по стеклу руками, всматривается. Сгинь, дядя!!! Выползешь ночью из Карповки злым чеченом, оскалишься под луной – а глаза закатились, – быстро-быстро побежишь на четвереньках через бульжную мостовую, через двор в парадную, в тяжелую глухую тьму, голыми руками по ледяным ступеням, по квадратной лестничной спирали, выше, выше, к нашей двери...

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце!

Нянечка разматывает мой шарф, отстегнет впившуюся пуговку, уведет в пещерное тепло детской, где красный ночник, где мягкие горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречневой кашей, которая сама себя хвалит. И, видя это,

нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – своего собрата.

Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд – а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!

Марьиванна, напившись чаю, повеселевшая, заходит в детскую сказать спокойной ночи. Отчего это ребенок так плачет? Ну-ну-ну. Что случилось? Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..

(Нет, нет, не то, не то! Молчи, не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать братика!)

– Ну-ка, вытри слезы, стыдно, такая большая! Доедай-ка все до конца! А я тебе стихи читаю!

Толкнув под локоть Марьиванну, приподняв цилиндр, прищурившись, вперед выходит дядя Жорж:

Не белые тюльпаны  
В венчальных кружевах —  
То пена океана  
На дальних островах.

Поскрипывают снасти  
Над старую кормой.  
Неслыханное счастье  
За пенною каймой.

Не черные тюльпаны —  
То женщины в ночи.  
Полуденные страны  
И в полночь горячи!

Выкатывайте бочку!  
Туземки хороши!  
Мы ждали эту ночь —  
Гуляйте от души!

Не алые тюльпаны  
Расплылись на груди —  
В камзоле капитана  
Три дырки впереди;

Веселые матросы  
Оскалились на дне...  
Красивы были косы  
У женщин в той стране.

«Страсти какие ребенку на ночь...» – ворчит няня.

Дядя поклонился и исчез. Марьиванна закрывает за собой дверь: до завтра, до завтра!

Уйдите все, оставьте меня, вы ничего не понимаете!

В груди вертится колючий шар, и невысказанные слова пузыряются на губах, размазываются слезами. Кивает красный ночник. Да у нее жар! – кричит кто-то из далекого далека, но ему не перекричать шума крыльев – гуси-лебеди обрушились с грохочущего неба!

...Дверь на кухню закрыта. Солнце пробивается сквозь матовое стекло. Полдень облил золотом паркет. Тишина. За дверью Марьиванна, плача, жалуется на нас:

– Больше так не могу! Что ж это – день изо дня все хуже... Все поперек, все назло... Я трудную жизнь прожила, все по чужим людям, всякое, конечно, отношение было... Нет, условия – я не говорю, условия хорошие, но в моем возрасте... и здоровье... откуда такой дух противоречия, и враждебность... хотела немножко поэзии, возвышенного... Бесплезно... больше не выдерживаю...

Она от нас уходит!

Марьиванна уходит от нас. Марьиванна сморкается в крошечный платочек. Пудрит красный нос, глубоко вглядывается в зеркало, медлит, будто что-то ищет в его недоступной, запечатанной вселенной. И правда, там, в сумрачных глубинах, шевелятся забытые занавеси, колеблется пламя свечи, выходит бледный дядя в черном, с листком в руках:

Принцесса-роза жить устала  
И на закате опочила.  
Вином из смертного фиала  
Печально губы омочила.

И принц застыл как изваяние,  
В глухом бессилье властелина,  
И свита шепчет с состраданием.  
Как опочившая невинна.

Порфироносные родители  
Через герольдов известили,  
Чтоб опечаленные жители  
На башнях флаги опустили.

Я в похоронную процессию  
Вливаюсь траурною скрипкою.  
Нарциссы в гроб кладу принцессе я  
С меланхолической улыбкою.

И, притворяясь опечаленным,  
Глаза потуплю, чтоб не выдали:  
Какое ждет меня венчание!  
Такого вы еще не видели.

Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной – зеркала. Марьиванна опускает густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни.

Весна еще слаба, но снег сошел, только в каменных углах лежат последние черные корки. А на солнышке уже тепло.

Прощай, Марьиванна!

У нас впереди лето.

## «На золотом крыльце сидели...»

*Сестре Шуре*

*На золотом крыльце сидели:  
Царь, царевич, король, королевич,  
Сапожник, портной.  
Кто ты такой?  
Говори поскорей.  
Не задерживай добрых людей!*

*Детская считалка*

Вначале был сад. Детство было садом. Без конца и края, без границ и заборов, в шуме и шелесте, золотой на солнце, светло-зеленый в тени, тысячеярусный – от вереска до верхушек сосен; на юг – колодец с жабами, на север – белые розы и грибы, на запад – комариный малинник, на восток – черничник, шмели, обрыв, озеро, мостки. Говорят, рано утром на озере видели *совершенно* голого человека. Честное слово. Не говори маме. Знаешь, кто это был?.. – Не может быть. – Точно, я тебе говорю. Он думал, что никого нет. А мы сидели в кустах. – И что вы видели? – *Всё.*

Вот это повезло! Такое бывает раз в сто лет. Потому что единственный доступный обозрению голый – в учебнике анатомии – ненастоящий. Содрал по этому случаю кожу, наглаватый, мясной и красный, похваляется он ключично-грудинно-сосковой мышцей (всё неприличные слова!) перед учениками восьмого класса. Когда (через сто лет) мы перейдем в восьмой класс, он нам тоже все это покажет.

Таким же красным мясом старуха Анна Ильинична кормит тигровую кошку Мемеку. Мемека родилась уже после войны, у нее нет уважения к еде. Вцепившись четырьмя лапками в ствол сосны, высоко-высоко над землей, Мемека застыла в неподвижном отчаянии.

– Мемека, мясо, мясо!

Старуха потряхивает тазик с антрекотами, поднимает его повыше, чтобы кошке было лучше видно.

– Ты посмотри, какое мясо!

Кошка и старуха с тоской смотрят друг на друга. «Убери», – думает Мемека.

– Мясо, Мемека!

В душных зарослях красной персидской сирени кошка портит воробьев. Одного такого воробья мы нашли. Кто-то содрал скальп с его игрушечной головки. Голый хрупкий череп, как крыжовина. Страдальческое воробьиное личико. Мы сделали ему чепчик из кружавчиков, сшили белую рубашечку и похоронили в шоколадной коробке. Жизнь вечна. Умирают только птицы.

Четыре беспечные дачи стояли без оград – иди куда хочешь. Пятая была «собственным домом». Черный бревенчатый сруб выбирался боком из-под сырого навеса кленов и лиственниц и, светлея, умножая окна, истончаясь до солнечных веранд, раздвигая настурции, расталкивая сирень, уклонившись от столетней ели, выбегал, смеясь, на южную сторону и останавливался над плавным клубнично-георгиновым спуском вниз-вниз-вниз, туда, где дрожит теплый воздух и дробится солнце в откинутых стеклянных крышках волшебных коробок, набитых огуречными детенышами в розетках оранжевых цветов.

У дома (а что там внутри?), распахнув все створки пронизанной июлем веранды, Вероника Викентьевна – белая огромная красавица – взвешивала клубнику: на варенье себе, на продажу соседям. Пышная, золотая, яблочная красота! Белые куры бродят у ее тяжелых ног, индюки высунули из лопухов непристойные лица, красно-зеленый петух скосил голову, смот-

рит на нас: что вам, девочки? «Нам клубники». Пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови. Лопух, весы, корзинка.

Царица! Это самая жадная женщина на свете!

Наливают ей заморские вина,  
Заедает она пряником печатным,  
Вкруг ее стоит грозная стража...

Однажды с такими вот красными руками она вышла из темного сарая, улыбаясь: «Теле-ночка зарезала...»

На плечах топорики держат...

А-а-а! Прочь отсюда, бегом, кошмар, ужас – холодный смрад – сарай, сырость, смерть...

А дядя Паша – муж такой страшной женщины. Дядя Паша – маленький, робкий, затюканный. Он старик: ему пятьдесят лет. Он служит бухгалтером в Ленинграде: встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок. Семь километров бегом, полтора часа узкоколейкой, десять минут трамваем, потом надеть черные нарукавники и сесть на жесткий желтый стул. Клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет, сейфы, накладные – дяди-Пашина работа. А когда пронесется, отшумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лязг, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки; ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону. Летом – в сандалиях, зимой – в подшитых валенках торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет вечерней тишиной, в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах колышется необъятная золотоволосая Царица. Но стеклянные ноги мы увидели позднее. Вероника Викентьевна надолго поссорилась с мамой.

Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было непременно условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела бы точно такую же уникальную породу кур, какая бегала в саду у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели. Но маминой подлости Вероника Викентьевна простить не могла. Нам перестали продавать клубнику и молоко, дядя Паша, пробегая мимо, виновато улыбался. Соседи замкнулись: они укрепили металлическую сетку на железных столбах, насыпали в стратегически важных пунктах битого стекла, протянули стальной прут и завели страшного желтого пса. Этого, конечно, было мало.

Ведь могла же мама глухой ночью сигануть через забор, убить собаку и, проползая по битому стеклу, с животом, распоротым колючей проволокой, истекая кровью, изловчиться и слабеющими руками вырвать ус у клубники редкого сорта, чтобы привить его к своей чахлой клубничонке? Ведь могла же, могла добежать с добычей до ограды и, со стоном, задыхаясь, последним усилием перебросить клубничный ус папе, который притаился в кустах, поблескивая под луной круглыми очками?

С мая по сентябрь мучимая бессонницей Вероника Викентьевна выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубаше с вилами в руках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином. В последнее время слух у нее обострился: она могла слышать, как на нашей даче, за триста метров, накрывшись с головой верблюжьим одеялом, папа с мамой шепотом договариваются обьегорить Веронику Викентьевну: прорыть подземный ход в парник с ранней петрушкой.

Ночь шла вперед, дом глухо чернел у нее за спиной. Где-то в теплой тьме, в середине дома, затерявшись в недрах огромного ложа, тихо, как мышь, лежал маленький дядя Паша. Высоко над его головой плыл дубовый потолок, еще выше плыла мансарда, сундуки со спящими в нафталине черными добротными пальто, еще выше – чердак с вилами, кло-чьями сена, старыми журналами, а там – крыша, рогатая труба, флюгер, луна – через сад, через сон плыли, плыли, покачиваясь, унося дядю Пашу в страну утраченной юности, в страну сбывшихся надежд, а потом возвращалась озябшая Вероника Викентьевна, белая и тяжелая, и отдавливала ему маленькие теплые ножки.

...Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет.

Ты побродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь, оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжадешь и привезешь – для помощи по хозяйству – Вероникину младшую сестру, Маргариту, такую же белую, большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.

О, как на склоне наших лет...

А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: «Мутон!»

Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными бри-льянтами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц.

А когда зима всем надоедала, они вывозили ее на грузовиках за город, пропихивали худо-сочные сугробы в зарешеченные подземелья и размазывали по скверам душистую черную кашу с зародышами желтых цветочков. И несколько дней город стоял розовый, каменный и гулкий.

А оттуда, из-за далекого горизонта, уже бежало, смеясь и глумя, размахивая пестрым флагом, зеленое лето с муравьями и ромашками.

Дядя Паша убрал желтого пса – положил в сундук и посыпал нафталином; пустил в мансарду дачников – чужую чернявую бабушку и толстую внучку; зазывал в гости детей и угощал вареньем.

Мы висели на заборе и смотрели, как чужая бабушка каждый час распахивает цветные окна мансарды и, освещенная арлекиновыми ромбами старинных стекол, взывает:

– Булки-молока хочш?!

– Не хочу.

– Какать-писать хочш?!

– Не хочу.

Мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиком дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: «На долгую, долгую память. 1908 год».

Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? Покажет, только сначала надо выпить чаю.

Витые ложечки, витые ножки у вазочек. Вишневое варенье. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. Да допивай ты скорее! Дядя Паша уже знает, ждет, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша – царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и растерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу! Водопад

бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, где нежные желтые бокалы обвил черный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное... Смотри, драгоценные часы с ненашими цифрами и змеиными стрелками! А эти – с незабудками! Ах, но вон те, вон те, смотри же! Над циферблатом – стеклянная комнатка, а в ней, за золотым столиком – золотой Кавалер в кафтане, с золотым бутербродом в руке. А рядом золотая Дама с кубком – часы бьют, и она бьет кубком по столику – шесть, семь, восемь... Сирень завидует, вглядываясь через стекло, дядя Паша садится к роялю и играет Лунную сонату. Кто ты, дядя Паша?..

Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, лунный, сиреневый аромат божественной музыки. Белая благородная голова дяди Паши откинута, улыбка Джоконды на его устах, улыбка Джоконды на золотом лице Маргариты, бесшумно вставшей в дверях, колышутся кружева занавесок, колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до вечернего озера, до лунного столба.

Играй, играй, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, замороженными, кто подарил тебе эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес, увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром?..

О Млечный Путь, пресветлый брат  
Молочных речек Ханаана,  
Уплыть ли нам сквозь звездопад  
К туманностям, куда слиянно  
Тела возлюбленных летят!

...Ну все. Пошли давай. Неудобно сказать дяде Паше простецкое слово «спасибо». Надо бы витиеватее: «Благодарю вас». – «Не стоит благодарности».

«А ты заметила, что у них в доме только одна кровать?» – «А где же спит Маргарита? На чердаке?» – «Может быть. Но вообще-то там дачники». – «Ну, значит, она в сенях, на лавочке». – «А может, они спят на этой стеклянной кровати, вальетом?» – «Дура ты. Они же чужие». – «Сама ты дура. А если они любовники?» – «Дак ведь любовники бывают только во Франции». Действительно. Это я не сообразила.

...Жизнь все торопливее меняла стекла в волшебном фонаре. Мы с помощью мамы проникали в зеркальные закоулки взрослого ателье, где лысый брючный закройщик снимал постыдные мерки, приговаривая: «побеспокою», мы завидовали девочкам в капроновых чулках, с проколотыми ушами, мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому – усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь. И нас сразу узнал, и радостно кинулся к нам заждавшийся дефективный натурщик из курса анатомии, щедро протягивая свои пронумерованные внутренности, но бедняга уже никого не волновал. И, оглянувшись однажды, недоумевающими пальцами мы ощупали дымчатое стекло, за которым, прежде чем уйти на дно, в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты.

Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу. Осень, что тебе надо? Постой, ты что же, всерьез?.. Облетели листья, потемнели дни, сторбилась Маргарита. Легли в землю белые куры, индюки улетели в теплые страны, вышел из сундука желтый пес и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра. Девочки, кто-нибудь, отнесите дяде Паше индийского чаю! Как мы выросли. Как ты все-таки сдал, дядя Паша! Руки твои набрякли, колени согнулись.

Зачем ты дышишь с таким свистом? Я знаю, я догадываюсь: днем – смутно, ночью – отчетливо слышишь ты лязг железных заслонок. Перетирается цепь.

Что ты так суетишься? Ты хочешь показать мне свои сокровища? Ну так и быть, у меня есть еще пять минут. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашенные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопанный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разождем озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой? Но, словно четверть века назад, дрожащими руками дядя Паша заводит золотые часы. Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съжились маленькие жители – Дама и Кавалер, хозяйева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклянуть скорлупу десятилетий. Восемь, девять, десять. Нет. Прости, дядя Паша. Мне пора.

...Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек.

Новая хозяйка – пожилая Маргаритина дочь – ссыпала прах дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике – хоронить было хлопотно.

Согнутая годами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по простуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на замолкших дорожках.

– Жестокая! Похорони его!

Но дочь равнодушно курит на крыльце. Ночи холодны. Пораньше зажжем огни. И золотая Дама Времени, выпив до дна кубок жизни, простучит по столу для дяди Паши последнюю полночь.

## Милая Шура

В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года – бульденежи, ландыши, черешня, барбарис – свились на светлом соломенном блюде, припиленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, – нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.

Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре – размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку – своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть.

Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти.

Наконец она закутилась в потоке огнедышащих машин у Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище – безделушки, овальные рамки, сухие цветы, – оставляя за собой шлейф валидола.

Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица – милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая... А это ее второй муж, ну а это третий – не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить... Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны.

Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!

...Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните... ну, неважно, я к вам в гости. Гости – ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу... Так и живу одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но... Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это – я. Это – тоже я. А это – мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень...

А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили. Весной – в Финляндию. Летом – в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы – очень дорого... Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году – зарезали в подворотне.

О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце – оно такое! Да вот три года назад – у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд – он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ничего не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках... Знаете, что-то такое в воздухе было – обоим ясно... Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он – с горя – женился на какой-то – так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд – испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.

Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, – и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна – выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд *туда*, а тут вдруг врываются, шаялами крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! – а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень...

Но Иван Николаевич... Ах, Иван Николаевич! Всего-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый выскобленный пол... Шестьдесят лет прошло, а вот ведь... Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегаёт как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год – Александра Эрнестовна покажет. Ах, как любил! Ехать или не ехать? На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень... Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны – где же она теперь? Куда обращены ее мокнувшие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышинный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул – раз и навсегда – настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.

– Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.

Да я никуда и не уйду. Я затем и пришла – пить чай. И принесла пирожных. Я сейчас поставлю чайник, не беспокойтесь. А она пока достанет бархатный альбом и старые письма.

В кухню надо идти далеко, в другой город, по бесконечному блестящему полу, натертому так, что два дня на подошвах остаются следы красной мастики. В конце коридорного туннеля, как огонек в дремучем разбойном лесу, светится пятнышко кухонного окна. Двадцать три соседа молчат за белыми чистыми дверьми. На полпути – телефон на стене. Белеет записка, приколотая некогда Александрой Эрнестовной: «Пожар – 01. Скорая – 03. В случае

моей смерти звонить Елизавете Осиповне». Елизаветы Осиповны самой давно нет на свете. Ничего. Александра Эрнестовна забыла.

В кухне – болезненная, безжизненная чистота. На одной из плит сами с собой разговаривают чьи-то щи. В углу еще стоит кудрявый конус запаха после покурившего «Беломор» соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается на черном ветру. Голое мокрое дерево поникло от горя. Пьяница расстегивает пальто, опершись лицом о забор. Грустные обстоятельства места, времени и образа действия. А если бы Александра Эрнестовна согласилась тогда все бросить и бежать на юг к Ивану Николаевичу? Где была бы она теперь? Она уже послала телеграмму (еду, встречай), уложила вещи, спрятала билет подальше, в потайное отделение портмоне, высоко заколола павлиньи волосы и села в кресло, к окну – ждать. И далеко на юге Иван Николаевич, всполошившись, не веря счастью, кинулся на железнодорожную станцию – бегать, беспокоиться, волноваться, распорядиться, нанять, договариваться, сходить с ума, вглядываться в обложенный тусклой жарой горизонт. А потом? Она прождала в кресле до вечера, до первых чистых звезд. А потом? Она вытащила из волос шпильки, тряхнула головой... А потом? Ну что – потом, потом! Жизнь прошла, вот что потом.

Чайник вскипел. Заварю покрепче. Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, ложечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка. Длинный путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках. Двадцать три соседа за белыми дверьми прислушиваются: не капнет ли своим поганым чаем на наш чистый пол? Не капнула, не волнуйтесь. Ногой отворяю готические дверные створки. Я вечность отсутствовала, но Александра Эрнестовна меня еще помнит.

Достала малиновые надтреснутые чашки, украсила стол какими-то кружавчиками, копается в темном гробу буфета, колыша хлебный, сахарный запах, выползающий из-за его деревянных щек. Не лезь, запах! Поймать его и прищемить стеклянными гранеными дверцами; вот так; сиди под замком.

Александра Эрнестовна достает чудное варенье, ей подарили, вы только попробуйте, нет, нет, вы попробуйте, ах, ах, ах, нет слов, да, это что-то необыкновенное, правда же, удивительное? правда, правда, сколько на свете живу, никогда такого... ну, как я рада, я знала, что вам понравится, возьмите еще, берите, берите, я вас умоляю! (О, черт, опять у меня будут болеть зубы!)

Вы мне нравитесь, Александра Эрнестовна, вы мне очень нравитесь, особенно вон на той фотографии, где у вас такой овал лица, и на этой, где вы откинули голову и смеетесь изумительными зубами, и на этой, где вы притворяетесь капризной, а руку забросили куда-то на затылок, чтобы резные фестончики нарочно сползли с локтя. Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши истлевшие поклонники, мужья, проследовавшие торжественной вереницей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали вы, каждый, кто прошел и скрылся за высокой горой. Я буду приходить к вам и приносить и сливки, и очень полезную для глаз морковку, а вы, пожалуйста, раскрывайте давно не проветривавшиеся бархатные коричневые альбомы – пусть подышат хорошенькие гимназистки, пусть разомнутся усатые господа, пусть улыбнется бравый Иван Николаевич. Ничего, ничего, он вас не видит, ну что вы, Александра Эрнестовна!.. Надо было решиться тогда. Надо было. Да она уже решилась. Вот он – рядом, – руку протяни! Вот, возьми его в руки, держи, вот он, плоский, холодный, глянцевоый, с золотым обрезом, чуть пожелтевший Иван Николаевич! Эй, вы слышите, она решилась, да, она едет, встречайте, всё, она больше не колеблется, встречайте, где вы, ау!

Тысячи лет, тысячи дней, тысячи прозрачных непроницаемых занавесей пали с небес, сгустились, сомкнулись плотными стенами, завалили дороги, не пускают Александру Эрнестовну к ее затерянному в веках возлюбленному. Он остался там, по ту сторону лет, один, на пыльной южной станции, он бродит по заплеванному семечками перрону, он смотрит на часы,

отбрасывает носком сапога пыльные веретена кукурузных обглодышей, нетерпеливо обрывает сизые кипарисные шишечки, ждет, ждет, ждет паровоза из горячей утренней дали. Она не приехала. Она не приедет. Она обманула. Да нет, нет, она же хотела! Она готова, и саквояжи уложены! Белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной темноте сундука, несессер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные купальные костюмы, чуть прикрывающие колени – а руки-то голые до плеч! – ждут своего часа, зажмурились, предвкушая... В шляпной коробке – невозможная, упоительная, невесомая... ах, нет слов – белый зефир, чудо из чудес! На самом дне, запрокинувшись на спину, подняв лапки, спит шкатулка – шпильки, гребенки, шелковые шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели – для нежных ногтей; мелкие пустячки. Жасминовый джинн запечатан в хрустальном флаконе – ах, как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свете! Она готова – что ей помешало? Что нам всегда мешает? Ну, скорее же, время идет!.. Время идет, и невидимые толщи лет все плотнее, и ржавеют рельсы, и зарастают дороги, и бурьян по оврагам все пышней. Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо.

...Еще чаю?

А после войны вернулись – с третьим мужем – вот сюда, в эти комнатки. Третий муж все ныл, ныл... Коридор длинный. Свет тусклый. Окна во двор. Все позади. Умерли нарядные гости. Засохли цветы. Дождь барабанит в стекла. Ныл, ныл – и умер, а когда, отчего – Александра Эрнестовна не заметила.

Доставала Ивана Николаевича из альбома, долго смотрела. Как он ее звал! Она уже и билет купила – вот он, билет. На плотной картонке – черные цифры. Хочешь – так смотри, хочешь – переверни вверх ногами, все равно: забытые знаки неведомого алфавита, зашифрованный пропуск туда, на тот берег.

Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; всё закрыли, ну а хоть щелочку-то – зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кирпичной стене – пролом, небрежно заложенный кирпичами, торопливо замазанный, крест-накрест забитый на скорую руку... Может быть, не здесь, а в другом городе... Может быть, где-то в путанице рельсов, в стороне, стоит вагон, старый, заржавевший, с провалившимся полом, вагон, в который так и не села милая Шура?

«Вот мое купе... Разрешите, я пройду. Позвольте, вот же мой билет – здесь все написано!» Вон там, в том конце – ржавые зубья рессор, рыжие, покореженные ребра стен, голубизна неба в потолке, трава под ногами – это ее законное место, ее! Никто его так и не занял, просто не имел права!

...Еще чаю? Метель.

...Еще чаю? Яблони в цвету. Одуванчики. Сирень. Фу, как жарко. Вон из Москвы – к морю. До встречи, Александра Эрнестовна! Я расскажу вам, что там – на том конце земли. Не высохло ли море, не уплыл ли сухим листиком Крым, не выцвело ли голубое небо? Не ушел ли со своего добровольного поста на железнодорожной станции ваш измученный, взволнованный, возлюбленный?

В каменном московском аду ждет меня Александра Эрнестовна. Нет, нет, все так, все правильно! Там, в Крыму, невидимый, но беспокойный, в белом кителе, взад-вперед по пыльному перрону ходит Иван Николаевич, выкапывает часы из кармашка, вытирает бритую шею; взад-вперед вдоль ажурного, пачкающего белой пылью карликового заборчика, волнующийся, недоумевающий; сквозь него проходят, не замечая, красивые мордатые девушки в брюках, хипповые пареньки с закатанными рукавами, оплетенные наглым транзисторным баба-ду-баканьем; бабки в белых платочках, с ведрами слив; южные дамы с пластмассовыми аканфами клипсов; старички в негнущихся синтетических шляпах; насквозь, напролом, через

Ивана Николаевича, но он ничего не знает, ничего не замечает, он ждет, время сбилось с пути, завязло на полдороге, где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах.

Иван Николаевич, погодите! Я ей скажу, я передам, не уходите, она приедет, приедет, честное слово, она уже решила, она согласна, вы там стойте пока, ничего, она сейчас, все же собрано, уложено – только взять; и билет есть, я знаю, клянусь, я видела – в бархатном альбоме, засунут там за фотокарточку; он пообтрепался, правда, но это ничего, я думаю, ее пустят. Там, конечно... не пройти, что-то такое мешает, я не помню; ну уж она как-нибудь; она что-нибудь придумает – билет есть, правда? – это ведь важно: билет; и, знаете, главное, она решила, это точно, точно, я вам говорю!

Александре Эрнестовне – пять звонков, третья кнопка сверху. На площадке – ветерок: приоткрыты створки пыльного лестничного витража, украшенного легкомысленными лотосами – цветами забвения.

– Кого?.. Померла.

То есть как это... минуточку... почему? Но я же только что... Да я только туда и назад! Вы что?..

Белый горячий воздух бросается на выходящих из склепа подъезда, норовя попасть по глазам. Погоди ты... Мусор, наверно, еще не увозили? За углом, на асфальтовом пяточке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали – где? За облаками, что ли? Вон они, эти спирали – торчат пружинами из гнилого разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальный портрет милой Шуры – стекло разбили, глаза выколоты. Старушечье барахло – чулки какие-то... Шляпа с четырьмя временами года. Вам не нужны облупленные черешни? Нет?.. Почему? Кувшин с отбитым носом. А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все, я не плачу – с чего бы? Мусор распарился на солнце, растекся черной банановой слизью. Пачка писем втоптана в жижу. «Милая Шура, ну когда же...», «Милая Шура, только скажи...» А одно письмо, подсохшее, желтой разлинованной бабочкой вертится под пыльным тополем, не зная, где присесть.

Что мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на неммыслимо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне.

## Круг

Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче.

В шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце днем и ночью с тобой. Шел себе и шел, с горки на горку, мимо сияющих озер, мимо светлых островов, над головой – белые птицы, под ногами – пестрые змеи, а пришел вот сюда, а очутился вот здесь; сумрачно тут и глухо, и воротник душит, и хрипло ходит кровь. Здесь – шестьдесят.

Все это, все уже. Трава тут не растет. Земля промерзла, дорога узка и камениста, а впереди светится только одна надпись: выход.

И Василий Михайлович был не согласен.

Он сидел в коридоре парикмахерской и ждал жену. Через раскрытую дверь видна была тесная, перегороженная зеркальными барьерами зала, где три... где три его ровесницы корчились в руках могучих белокурых фурий. Можно ли назвать дамами то, что множилось в зеркалах? С возрастающим ужасом вглядывался Василий Михайлович в то, что сидело ближе к нему. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в пол, схватила *это* за голову, и, оттянув ее назад, на придвинутый жестяной желоб, плеснула кипятком – взвился пар; бешено взмылила пену; снова пар, и не успел Василий Михайлович привстать и крикнуть, как она уже, навалившись, душила свою жертву белой вафельной простыней. Он перевел взгляд. В другом кресле – боже мой – к побагровевшей, очень довольной, впрочем, голове, утыканной словно бы штырями, триодами, сопротивлениями, тянулись длинные провода... В третьем кресле он, вглядевшись, узнал Евгению Ивановну и пошел в ее сторону. То, что дома казалось ее волосами, теперь съезжилось, кожа обнажилась, и женщина в белом халате тыкала туда жижицей на палочке. Удушливо пахло.

– Куда в пальто!!! – крикнуло несколько голосов.

– Женя, я все-таки пока пройдуся, сделаю кружочек, – махнул рукой Василий Михайлович. С утра он чувствовал слабость в ногах, бухало сердце и хотелось пить.

В фойе в больших кастрюлях росли какие-то жесткие зеленые сабли эфесами в землю, со стен глядели фотографии небывалых существ с нехорошими намеками во взгляде, а на головах-то! – башни, торты, крученые рога, или, как на плюре в столовках – волны. Вот одной из таких хочет быть Евгения Ивановна.

Дул холодный ветер, и мелко, сухо сыпало с неба. День был темный, пустой, короткий, вечер родился уже на рассвете. В маленьких магазинчиках ярко, уютно горел свет. На углу прилепилась крохотная, сияющая, благоуханная лавчонка, коробка с чудесами. Да разве войдешь: все навалились друг на друга, тянутся с чеками через головы, хватают маленькое что-то. Толстуху задавили в дверях, она цепляется за притолоку, ее сносит встречным потоком.

– Дайте выгги! Да дайте же выгги!

– Что там?

– Блеск для губ!

Василий Михайлович вклинился в толчею. Женщина, женщина, есть ли ты?.. Что ты такое?.. Высоко на вершине на сибирском дереве испуганно блестит глазами твоя шапка; корова в муках рождает дитя – тебе на сапоги; с криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами; в предсмертной тоске бьется кашалот, рыдает крокодил, задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки – в коробках с летучей пылью, улыбки – в золотых футлярах с малиновой начинкой, гладкая кожа – в тюбиках с жиром, взгляд – в круглых прозрачных банках... Он купил для Евгении Ивановны пачку ресниц.

...Все предрешено, и в сторону не свернуть – вот что мучило Василия Михайловича. И жен не выбирают, они сами, неизвестно откуда взявшись, возникают рядом с вами, и вот вы уже бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам, и вас, стреноженного, с

кляпом во рту, обучают тысячам тысяч удушающих подробностей преходящего бытия, ставят на колени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна все бегут и бегут, догоняя друг друга, по кругу, по кругу, по кругу.

Василию Михайловичу открылось, чем чистить ложки и какова сравнительная физиология котлеты и тефтели; он помнил наизусть печально короткий срок жизни сметаны, и в его обязанности входило уничтожить ее при первых же признаках начинающейся агонии; он знал месторождения мочалок и веников, профессионально различал крупы, держал в голове все залоговые цены на стеклянную посуду и каждую осень протирал оконные стекла нашатырем, чтобы в корне уничтожить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме.

Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот, он доживет эту жизнь и начнет новую, в другом обличье. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность; то ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем. Василий Михайлович прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли, и, откинувшись в кресле, долго глядел в зеркало на себя – одного-единственного.

Ничего не происходило. Не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзлось, не слышался глас с неба, никто не искушал, не возносил, не расстилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона, тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Klarой. У Klarы дома все было такое же, как у Василия Михайловича, такая же чистая кухня, разве что окна на север, такая же тахта, и, ложась в крахмальную Klarину постель, Василий Михайлович видел в уголке подушки еще один телефонный номер; вряд ли там ждала его судьба, но, наскучив Klarой, он все же позвонил и обрел женщину Светлану с девятилетним сыном; в Светланином шкафу стопочкой тоже лежало, переложенное кусками хорошего мыла, чистое белье.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.